

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

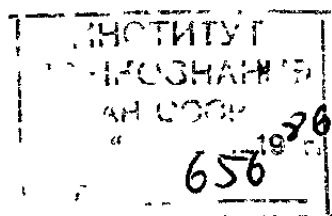
Е.С. Кубрякова

НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ответственный редактор
академик Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ



МОСКВА
«НАУКА»
1986



В монографии исследуются лингвистические основы речевой деятельности, в частности роль в ней номинативного компонента языка. Подробно освещены отдельные этапы порождения речи, в том числе вербальные и превербальные, предложен развернутый анализ существующих моделей порождения речи.

Рецензенты:

И. Н. ГОРЕЛОВ, А. А. УФИМЦЕВА, А. М. ШАХНАРОВИЧ

ОТ АВТОРА

Настоящая книга вряд ли укладывается полностью в то, что именуется психолингвистическими исследованиями, и все же она тесно с ними связана. Ведь в ней делается попытка дать новую интерпретацию тем данным, которые были получены в психологии речи и в психолингвистике, с позиций лингвиста, да и собрать воедино те сведения о речевой деятельности и ее номинативном аспекте, которые могли бы пролить свет на понимание лингвистических основ этой деятельности.

Подчеркнув два десятилетия тому назад, что «рано или поздно... мы вынуждены будем поставить на повестку дня вопрос о создании общей теории речевой деятельности» [Леонтьев 1965, 4], и провозгласив несколькими годами спустя создание подобной теории основным объектом новой научной дисциплины — психолингвистики [Леонтьев 1968, 33], ученые этого направления внесли заметный вклад в описание структуры и форм речевой деятельности. Опираясь на замечательные труды советских психологов — Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, Н. И. Жинкина и А. Р. Лурия, — советские психолингвисты смогли предложить модели порождения речи, существенно отличавшиеся от разрабатываемых за рубежом их глубокой связью с деятельностью человека вообще и его мыслительной, когнитивной деятельностью, в частности. Но хотя объектом анализа в психолингвистике и являлась речевая деятельность, а ее предметом «устройство и функционирование речевых механизмов человека... под определенным углом зрения — в плане их соотносительности со структурой языка» [Леонтьев 1976, 5], именно этот последний аспект анализа оставался наименее выраженным. Быть может, именно по этой причине в освещении речевой деятельности продолжали существовать значительные пробелы.

Особенно заметными были пробелы в понимании того, как формируется речь и какие закономерности лингвистического порядка можно установить в ее осуществлении. «Мы еще очень мало знаем о структуре и функционировании механизмов порождения речи», — справедливо отмечал А. А. Леонтьев в начале 70-х годов, и почти дословно формулировала ту же мысль и Дж. Грин, указывая, что «мы почти ничего не знаем о большинстве стадий порождения» [Грин 1976, 319].

Посвящая свою книгу посильному решению известной части этих проблем и сосредотачивая свое внимание преимущественно на сфере действия процессов номинации в речевой деятельности, мы одновременно ставим перед собой и некоторые иные цели: показать, что может дать современная теория языка для анализа речевой деятельности и, напротив, что может дать исследование речевой деятельности для уточнения таких ее кардинальных понятий, как понятие языкового значения, соотношение разных уровней в системе языка, назначение единиц языка (в том числе и разных единиц

номинации), — уточнения, которое связано с пониманием их роли при функционировании языка и при их использовании говорящим в порождении речи.

Языковое поведение человека можно изучать под разными углами зрения: так, социолингвистика изучает его поведение как члена общества [Звегинцев 1982, 254], психолингвистика — как отражающее в речевой деятельности некие психические процессы [Оксааг 1983, 291 и сл.], сама же лингвистика должна, по-видимому, определить иное. Здесь важно определить языковую подоплеку таких процессов, как овладение языком, его использование и понимание, т. е. рассмотреть три этих главных для психолингвистики процесса в их связи с языком и речевой деятельностью. Акцент на изучение языкового поведения человека означает обращение к человеческому фактору в языке, а связанность этого поведения с психическими и когнитивными процессами объясняет широкое использование в книге материалов по проблемам мышления и языка, непосредственно по психолингвистике и т. п., но одновременно и то, почему все эти данные рассматриваются с позиций самой лингвистики.

Хочется также отметить, что исследование речевой деятельности — это прежде всего ее изучение как особого типа человеческой деятельности. В этом отношении нам казалось важным установить те механизмы, которые лежат в основе порождения и понимания высказываний и которые приводят в действие сознание человека, направляя его на процессы вербализации мысли и порождение речи. Думается, однако, что изучение речевой деятельности и ее протекания, важное и само по себе, может иметь серьезные последствия и для теории языка. Ведь «в подлинном и действительном смысле в качестве языка можно рассматривать только всю совокупность актов речевой деятельности» [Гумбольдт 1960, 73], и можно полагать, соответственно, что изучив те задачи, которые возникают перед говорящим во время проведения этих актов, мы можем объяснить и то, как устроен язык и каким требованиям должна отвечать его система.

Признавая, что «само понятие языка включает динамику языка как деятельности» [Колшанский 1975, 27], мы не можем не признавать и того, что анализ этой деятельности и главных принципов ее организации позволяет объяснить многое и в самой системе языка. Ведь речевая деятельность по самой своей сути отражает все, для чего существует язык, то, с какими целями он используется говорящими. Какими бы разнообразными и многоплановыми ни были конкретные цели актов речи, главным здесь остается одно — вступить в общение, передать другому или другим определенную информацию, рассказать или сообщить, спросить или поделиться, приказать или заставить. Так или иначе это значит прежде всего передать определенное содержание, «опредмеченное» с помощью языковых форм, объективированное средствами языка как средствами выражения значения. Все это и позволяет представить семантику в качестве ведущего лингвистического начала во всей речевой деятельности [ср. Шахнарович 1981, 167].

Не только развитие речевой деятельности в онтогенезе, но и все реальное разворачивание речевой деятельности говорящего человека обуславливается его коммуникативными потребностями, его интенциями, содержанием того, что подлежит объективации вовне, а значит, вербализации.

В тесной связи с семантикой рассматриваются в книге не только процессы номинации, но и сам переход от личностных смыслов говорящего, формирующих его мысль, к определенным языковым средствам ее реали-

зации, через обязательную ступень распределения этих личностных смыслов по разным типам языковых единиц как служащих выражению языковых значений разного типа. Поскольку ведущим началом при переходе от мысли к слову считается семантика, весь процесс речеобразования рассматривается в книге как связанный в первую очередь с теми механизмами, которые осуществляют реализацию смыслового задания речевого акта и которые обеспечивают распределение его отдельных смыслов по языковым формам и единицам номинации разных уровней и разных структур, начиная от синтаксической схемы высказывания и заполняющих ее постепенно единиц номинации, или же, напротив, начиная от выбранной единицы номинации, тянущей за собой далее определенную синтагматическую последовательность, строящуюся по синтаксическим законам и получающую, естественно, особое грамматическое и фонологическое оформление.

Со страниц специальной литературы не сходит мысль о том, что центральной проблемой современной лингвистики является вопрос, «каким образом мы можем понимать (или создавать) новое для нас предложение» [Слобин 1976, 29], а потому адекватная теория языка «должна объяснить, как люди понимают предложения, которые они читают или слышат, и как они соответственно реагируют на них», вследствие чего «теория языка должна включать теорию понимания, теорию порождения (предложения), теорию памяти, теорию мотивации и поведения и еще многое другое» [Shank 1980, 36; ср. также Garrett, Fodor 1968, 451; Fodor, Jenkins, Saporta 1967, 161 и др.]. Правильнее было бы, наверно, считать, однако, что адекватная теория языка должна не столько включать перечисленные теории, сколько интегрировать их, рассмотрев все их данные с лингвистической точки зрения.

Интересно отметить, что решения поставленных проблем ожидают от психологов, которые, по мнению Д. Слобина, «должны разработать сложную когнитивную теорию внутренних мыслительных структур, которые делают возможным порождение и понимание предложений» [Слобин 1976, 51]. Указывая на те значительные трудности, которые связаны с истолкованием роли вербализации в процессе мышления, лингвисты тоже подчеркивают, что вопрос об этом — не разрешенная проблема психологии [Горелов 1974, 25]. Думается, однако, что свое веское слово в этом вопросе должны сказать и лингвисты и что скорее права А. Вежицка, связывающая проникновение в глубину мыслительных структур с семантическими исследованиями и с собственно лингвистическим анализом [Вежицка 1983, 225].

«Конечно,— пишет С. Д. Кацнельсон,— внутренняя сторона речемыслительных процессов скрыта от глаз наблюдателя, но исследователь языка вправе высказать свое суждение о ней, поскольку функциональное содержание языковых форм наталкивает его на определенные выводы» [Кацнельсон 1984, 4]. В настоящей работе мы стремимся показать, на основании каких данных в процессе порождения речи мы можем судить и о внутренней, сокрытой от нас стороне деятельности мозга, и о тех механизмах, которые вызваны к жизни стремлением говорящего сделать свои мысли достоянием другого человека.

Поставив перед собой первоначально задачи, относящиеся к описанию и характеристике номинативной деятельности в речи человека, а также к определению их места в порождении речи, мы вынуждены были разобраться первоначально в строении и организации речевой деятельности как таковой, а для этого проанализировать существующие модели ее представления.

Точно так же вопрос о том, к какому этапу или этапам речевой деятельности относятся акты номинации, не мог получить ответа до тех пор, пока мы не определили всех стадий этой деятельности в целом и не выявили те компоненты системы языка, которые включены в осуществление процесса порождения речи. В ходе такого рассмотрения подверглось полному пересмотру не только понимание соотношения разных этапов речевой деятельности, но и роли отдельных этапов в ее осуществлении (в частности, превербальных). Подверглось существенному изменению и представление о диапазоне действия номинативной деятельности в порождении речи, которую вплоть до настоящего момента сводили к деятельности по поиску и выбору надлежащих слов.

Одной из центральных проблем книги стал вопрос о взаимодействии семантики с синтаксисом и процессами номинации, о соотношении номинации и предикации, об участии в порождении речи единиц номинации, разных по своей структуре и протяженности, не тождественных по своему уровневому статусу и передаваемым им типам языковых значений. Соответственно определилась и главная задача книги — охарактеризовать речевую деятельность в определенном плане, как деятельность по порождению речи с позиции говорящего, направленную на объективацию мысли, и лишь с этой точки зрения определить место, отводимое в этой деятельности процессам наречения мира, поискам обозначения личностных смыслов говорящего, выбору и созданию средств вербализации его замысла.

В современной лингвистике уже было подчеркнуто с полным основанием, что «описание любого языка невозможно без учета того, что „делается в головах людей“» [Чейф 1975, 47]. Невозможна без этого и адекватная теория языка. Попыткой объяснить, что совершается в голове человека, когда он начинает говорить, и как это может быть истолковано с лингвистической точки зрения, и является настоящая книга.

* * *

Настоящая работа составляет часть исследований по теме «Язык и деятельность человека», осуществляемых под руководством академика Б. А. Серебренникова сектором общего языкознания Института языкознания АН СССР

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ЕЕ ОПИСАНИИ

1. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сейчас, когда призывы к изучению языка в действии становятся едва ли не общим местом программ лингвистических исследований, странно вообразить себе, что сравнительно недавно анализ речевой деятельности вообще выводился за пределы лингвистики и единственным объектом ее считался язык. В настоящее время, однако, мы столкнулись с необходимостью не только обратиться к характеристике функциональных аспектов грамматики языка, но и обогатить теорию языка за счет изучения речевой деятельности. Перед лингвистикой стоит задача «ввести речь в язык» [Ducrot 1978, 108]. В момент становления лингвистики структурной перед ней стояла прямо противоположная задача.

«Все факты речевой деятельности человека как у первобытных народов, так и у культурных наций, как в эпоху расцвета того или другого языка, так и во времена архаические, а также в период его упадка» — это только «материал лингвистики», — подчеркивал Ф. де Соссюр; дело лингвиста заключается поэтому прежде всего в том, чтобы определить «место языка в явлениях речевой деятельности» [Соссюр 1977, 44 и 49].

Указывая, что язык — не деятельность говорящего, а некие основания для этой деятельности («совокупность необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка»), извлекаемые из фактов речи, Соссюр утверждал также, что «речевая деятельность, взятая в целом, непознаваема» [Соссюр 1977, 47—48 и 58]. Вместе с тем он пророчески указал и на то, что «деятельность говорящего должна изучаться целой совокупностью дисциплин, имеющих право на место в лингвистике лишь постольку, поскольку они связаны с языком» [там же, 57]. Им же постулировалась в качестве особой лингвистики и лингвистика речи. Однако, создавая свою теорию речевой деятельности, Соссюр считал возможным идти по пути исследования языка.

В трактовке Соссюра речевая деятельность (langage) выступала как полная совокупность всех фактов о языке. Понятие речевой деятельности относилось у него, соответственно, к одновременному обозначению и процессу, и результата использования языка, а также к обозначению социальных условий этого использования и индивидуальных обеспечивающих его способностей говорящего. Отсюда и известная схема изображения намеченной

Ф. де Соссюром связи четырех явлений у Р. Годаля [ср. Слюсарев 1975, 11; Кацнельсон 1972, 96; Зимняя 1978, 22] (см. схему 1).

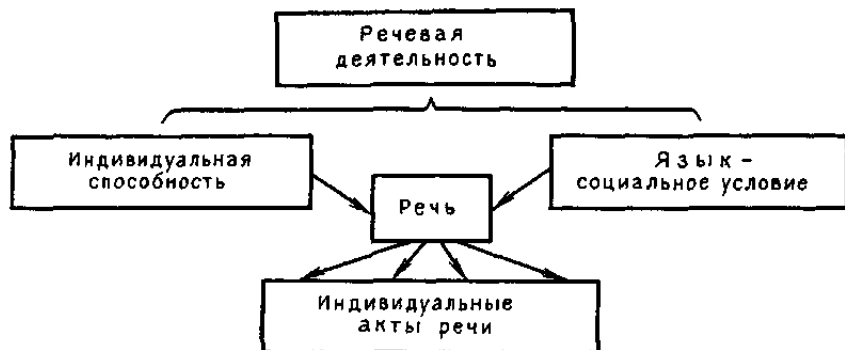


Схема 1

Широко комментируя соссюровскую дихотомию языка и речи, будущие исследователи мало обращали внимание на тот важный факт, что параллельно четырем указанным явлениям Соссюр выделяет еще одно: индивидуальные акты речи, благодаря чему его схема может быть продолжена и дальше. Тогда понятно, что речевая деятельность опирается на единичное (индивидуальные способности говорящего) и общее (данный ему как члену коллектива язык), что проявляется затем в говорении (речи), складывающейся из индивидуальных актов общения. Здесь — уже на иных основаниях — сталкиваются речевые механизмы (психофизические и пр.) с собственно языковыми знаниями. Возникает явление своеобразного круговорота речи: чтобы говорить, люди должны обладать знанием языка, но чтобы получить эти знания, надо «извлечь» язык из материала речи (фактов речевой деятельности), а следовательно, из того, что дано в индивидуальных актах речи. Такой круговорот (реально существующий) можно представить схемой, в которой описанные явления включаются как бы в новую систему противопоставлений (см. схему 2).



Схема 2

Верхняя и нижние точки в схеме соответствуют соссюровской оппозиции непосредственно не наблюдаемого — непосредственно наблюдаемому, а левая и правая точки — оппозиции индивидуального и социального. Хотя на страницах «Курса» неоднократно подчеркивается мысль о пассивном характере речевых процессов, поскольку речь рисуется как «исполнение» готового языка (откуда сравнение языка с исполняемой симфонией), в индивидуальном речевом акте эта «исполнительская» часть четко противопостав-

ляется языковой. Сфера действия языка связывается лишь с той частью речевого акта, «где слуховой образ ассоциируется с понятием» [Соссюр 1977, 52], т. е. с актом семиозиса и номинации.

Приписывать каноническому тексту «Курса» не две системы координат, а только одну [Леонтьев 1969, 13] кажется поэтому неправомерным. Сложность и неоднородность описываемых феноменов, как и их диалектическая противоречивость, уже не ускользала от Соссюра. См. также [Попов, Трегубович 1984, 24 и сл.].

В дальнейшем, однако, понятие речевой деятельности в таком широком значении не употреблялось; напротив, в психолингвистической литературе складывалась постепенно традиция придать понятию речевой деятельности более определенный и более узкий смысл. В советском языкознании начало новому истолкованию термина речевой деятельности положил Л. В. Щерба. Взамен глобального обозначения всех феноменов языка термином «речевая деятельность» он вводит в качестве родового имени нейтральный термин «языковые явления», а среди последних выделяет речевую деятельность, языковую систему и языковой материал.

По-видимому, прав А. Ф. Ширяев, когда он указывает на то, что к пониманию необходимости противопоставить язык как процесс (речь, речевая деятельность) и язык как абстрактный комплекс категорий (систему) подходил уже учитель Л. В. Щербы — И. А. Бодуэн де Куртенэ [Ширяев 1978, 10]. Но важно, что именно Л. В. Щерба начинает выделение трех аспектов языковых явлений (гипероним — языковые явления), основываясь на вычленении в них процессов речи, их реального фундамента и, наконец, материального результата процессов речи. Такое деление соответствует противопоставлению речевой деятельности как процессов говорения и понимания тому, что лежит в их основе в виде знания языковой системы (совокупности грамматики и словаря), а также тому, что рождается в этой деятельности, — языковому материалу, текстам, речевым произведениям [Щерба (1931) 1974]. Подобное деление представляется нам в высшей степени плодотворным, хотя, по справедливому замечанию С. Д. Кацнельсона, выделив новый аспект языковых явлений, Л. В. Щерба ограничился общими замечаниями о его соотношении с другими аспектами языка, и «о том, каким образом могут быть реконструированы процессы речевой деятельности, Щерба не говорит» [Кацнельсон 1972, 101].

Существенно, однако, что важной чертой процессов говорения и понимания Л. В. Щерба считал их речевую организацию, т. е. те психофизиологические принципы, которые этими процессами управляют и которые впоследствии стали чаще всего именовать механизмами речи. Отличительной чертой концепции Л. В. Щербы является также то, что речь и речевая деятельность у него строго не противопоставлены: речевая деятельность и есть процессы речи, процессы говорения и слушания.

Хотя в современной психолингвистике прилагается немало усилий, чтобы разграничить понятия речевой деятельности, языка и речи [см. Леонтьев 1969; Зимняя 1978; 1981], мы полагаем возможным использовать термины «речь» и «речевая деятельность» как синонимичные, несмотря на то, что известных оснований для их дифференциации не отрицаем. Понятие речевой деятельности используется нами в качестве общего и родового термина для обозначения всех явлений и фактов, относящихся к порождению речи и ее восприятию, к процессам говорения и слушания, а значит, к созданию и реа-

лизации речевых актов и т. п. В то же время определение речевой деятельности именно как деятельности вносит свой заметный вклад в содержание данного понятия, выводя его за пределы процессов говорения и слушания как таковых (подробнее об этом — в следующем параграфе книги) из-за сложности структуры любой деятельности и несводимости ее к одним «исполнительским» процессам. Так, речевая деятельность представляет собой, по нашему мнению, такую совокупность речевых действий и речевых операций со стороны говорящего, создающего речь (речевой акт), и слушающего ее воспринимающего, которая вызывается определенными потребностями, ставит перед собой определенную цель и совершается в конкретных условиях. Акты речи, из которых складывается речевая деятельность, с самого начала не только целенаправлены, но и ситуационно ориентированы; они связаны с личностью говорящего и личностью слушающего, но одновременно и с тем, что имеется общего не только между собеседниками как таковыми, но и с тем, что имеется общего у членов данного речевого коллектива. Через язык акты речи связаны также с практикой предыдущих поколений, говоривших на том же языке, и с опытом человечества, говорившего на разных языках. Все это ведет к тому, что акты речи следует изучать не только в тесной связи с анализом внутреннего мира и внутренних возможностей человека, не только учитывая как его общественные, социальные, так и его природные, биологические, индивидуальные характеристики, но и по тому, какие механизмы ими сейчас управляют и что позволяет этим актам оказываться составляющими сложнейшего процесса коммуникации между людьми и средством передачи их мыслей, воли и чувств.

В анализе речевой деятельности как исходящей от человека и совершаемой для людей невозможно обойтись без учета человеческого фактора: механизмы речи существуют в человеке и используются, приводятся в движение говорящим человеком. Выступая как отработанные тысячелетиями употребления языка в его всевозможных функциях, отражая практику использования языка миллиардами говорящих, механизмы речи по-прежнему представляют собой действия и операции, приводимые в движение волей и разумом говорящих людей и потому зависящие от их биологических, когнитивных и социальных возможностей, от их индивидуальных языковых способностей и т. д.

Вместе с тем речевая деятельность — это деятельность, в ходе которой используется язык. В основе речи лежит, однако, не столько употребление языка, сколько обращение к языку и его неиссякаемым возможностям. Первое наводит на мысль о применении чего-то существующего в виде заранее заданной, «готовой» системы; второе, напротив, подчеркивает известную свободу оперирования с имеющимися в системе языка единицами и правилами. Если понимать язык как замкнутую систему, а речевую деятельность — как простое использование единиц из этой системы, создание новых единиц в речевой деятельности оказывается либо сведенным к новой комбинаторике существующих знаков, что неверно [ср. Ромашко, 1984, 137—138], либо просто необъяснимым феноменом, что противоречит главной функции науки. Дело лингвиста поэтому показать и объяснить, как языковые ресурсы реализуются говорящими в актах речи и какие именно составляющие языковой системы характеризуют отдельные этапы речевой деятельности.

В отличие от Ф. де Соссюра Л. В. Щерба подчеркивал принципиальную доступность речевой деятельности наблюдению, эксперименту, во вся-

ком случае в той мере, в какой эта деятельность поставляет языковой материал. Как правильно отмечает И. А. Зимняя, Л. В. Щерба подчеркнул очень важную мысль, что языковая система и языковой материал — «это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности» [Зимняя 1978, 23]. Но сейчас самым интересным аспектом речевой деятельности представляется как раз тот, который может объяснить, как именно вовлекается языковая система в речь человека и как с ее помощью организуется затем создаваемое в речи высказывание и цепочка высказываний — текст, языковой материал.

При такой постановке проблемы особой необходимости противопоставления категорий в триаде «язык — речь — речевая деятельность» не возникает, ибо язык и речь (способность к речи) осознаются как предпосылки речевой деятельности, причем речь трактуется прежде всего как говорение, т. е. тот вид речевой деятельности, который с процессуальной точки зрения и интересует нас прежде всего и который может рассматриваться как обеспечивающий ее «исполнительную часть» (например, фонационную в реальном звучащем потоке речи или же графическую при осуществлении общения в письменной речи). Представленное разнообразие точек зрения на соотношение языка и речи, речи и речевой деятельности вынуждает нас на этих вступительных страницах книги сформулировать собственное отношение к рассматриваемым категориям, но, думается, что чисто терминологическая полемика здесь нецелесообразна, ввиду чего мы и ограничиваемся исключительно разъяснением принимаемой в книге интерпретации. К тому же мы полагаем, что некоторые из сложившихся к настоящему времени концепций не дают прямого ответа на вопрос о том, что же именно различает речь и речевую деятельность и почему конкретно такое разграничение необходимо.

Так, И. А. Зимняя подчеркивает, например, что «язык рассматривается как средство, а речь как способ формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе речевой деятельности индивида» [Зимняя 1978, 23, то же Зимняя 1981, 85]. Неясно, однако, как раз то, как могут быть противопоставлены друг другу средство и способ, ибо, как, по-видимому, правильно определяет их С. И. Ожегов, эти единицы равно обозначают «прием, действие, метод... при осуществлении какой-н. деятельности» и орудие для ее осуществления. Нельзя также сводить речь (и речевую деятельность!) к способу формирования и формулирования мысли. Мы ограничиваемся поэтому констатацией того, что речевая деятельность протекает с помощью такого феномена, как речь (говорение), при обращении к языку как к источнику используемых в этой деятельности единиц и правил и при ее направленности на восприятие речи другим(и). Речевая деятельность — это сложное образование именно потому, что оно связывает в единый узел все те диалектические противоречия, которые приписывались дихотомии языка и речи. Ведь, как справедливо отметил А. А. Холодович, «язык противопоставлялся речи то как социальное индивидуальному, то как виртуальное актуальному, то как абстрактное конкретному, то как код сообщению, то как парадигматика синтагматике, то как синхрония диахронии, то как норма стилю, то как система (“клетки”) реализации ее (заполненные и “пустые” клетки), то как [врожденная] способность (competence) использованию ее (performance) в смысле Хомского и т. д. и т. п. Одни связывали эту дихотомию с дихотомией *energeia* — *ergon* Гумбольдта, другие — и неосновательно — с дихотомией *Sprache* — *Rede* Пауля и Габеленца. Но при любой интерпрета-

ции... никто не отрицал наличия той кардинальной дихотомии, на которую расщепляется речевая деятельность человеческого общества» [Холодович 1977, 23; цит. по Соссюр 1977].

В трактовке речи можно идти, отталкиваясь от любого из указанных противопоставлений, и в принципе этому понятию может быть дано как более узкое, так и более широкое истолкование. В первом случае речь понимается как способность говорить или говорение, во всех остальных — как говорение и слушание, а также либо в динамическом аспекте (процессы говорения и слушания), либо в статическом (результат этих процессов, речевые произведения, тексты). Чтобы избежать этой широкозначности, мы используем термин “речь” главным образом как синоним обороту “процессы говорения”.

Термин “речевая деятельность” более определен: в нем явно подчеркнута динамическая и процессуальная суть рассматриваемого явления. К тому же он не препятствует выделению в изучаемой деятельности двух начал и двух аспектов: деятельности говорящего и деятельности слушающего, порождения речи и ее понимания, восприятия. И хотя в книге изучается в основном первое, сама речевая деятельность рассматривается как речемыслительная, как сложное явление, имеющее разные стороны и аспекты: коммуникативный (касающийся общения), семиотический (касающийся использования существующей системы знаков), информационный (касающийся создания, передачи и обмена информацией) и, наконец, орудийный, технический, исполнительский, связанный с наличием у человека языковых способностей и особых механизмов речи [ср. Супрун 1980, особ. 36—37]. Именно этот последний мы и пытаемся охарактеризовать в настоящей работе. Соответственно основными проблемами, которыми мы здесь занимаемся в связи с рассмотрением речевой деятельности, оказываются вопросы о том, как говорит человек и как порождается речевой поток и, наконец, какое место в этом процессе занимают акты и явления номинации.

Вплоть до настоящего времени лингвисты изучали языковой материал для того, чтобы обнаружить стоящую за ним языковую систему, извлечь то общее, что маркирует этот материал, и уюрядочить извлеченное в определенной абстрактной форме. Сейчас, однако, наступило время для иного: так, нас интересует более всего сама организация речевой деятельности и принципы ее осуществления. Соответственно и языковой материал рассматривается нами в иной плоскости. Можно сказать даже, что меняется точка зрения на то, что понимается в качестве языкового материала, и на то, какие задачи возникают при его изучении¹. Особенно заметны эти перемены в сфере выделения новых лингвистических дисциплин. Тремя аспектами языковых явлений, противопоставленных Л. В. Щербой, занимаются ныне три разных раздела языкознания. Системой языка по-прежнему занимается традиционная лингвистика, хотя тоже в гораздо меньшей степени, чем раньше. Зато в самостоятельные лингвистические дисциплины выделились психолингвистика и лингвистика текста. У психолингвистики, или, как мы говорили выше, лингвистики речи и речевой деятельности, главным объектом ее исследования оказываются процессы речеобразования и восприятия речи.

¹ Интересные идеи по этому поводу высказывает Дж. Мей, связывая вовлечение в орбиту лингвистических исследований нового языкового материала и новых фактов с формированием прагмалингвистики [см. Мей 1979, 9] или лингвистики текста [Попов, Трегубович 1984, 19 и сл.].

Для полной характеристики психолингвистических исследований недостаточно, однако, простого указания на область ее анализа. Теоретические предпосылки адекватного подхода к выделенному объекту и задачи новой науки закладывались по мере развития функциональных направлений в изучении языка и вместе со становлением наиболее авторитетного для зарубежного языкознания того времени течения — порождающей грамматики, т. е. они формировались параллельно кардинальной перестройке фундамента всей лингвистической теории. Но советская психолингвистика складывалась под сильнейшим влиянием советской психологической школы и шла в значительной мере своим собственным путем, опережая не только в станововке проблем, но и в выдвижении новых подходов к их решению многое из того, что сейчас делают непосредственно в лингвистике.

В силу этого обстоятельства приходится поставить и целый ряд проблем, связанных теперь с соотношением психолингвистики с другими смежными дисциплинами и теориями и с известной неясностью или нечеткостью границ между тем, что входит в компетенцию психолингвистики, и тем, что выходит за ее рамки.

Так, значительным достижением советской психолингвистики явилось положение о том, что «все речевые процессы необходимо рассматривать не сами по себе, а в коммуникативном акте»; на необходимость этого впервые указал Н. И. Жинкин [Котов, Новиков 1982, 4]. Выдвижение этих фундаментальных идей означало требование учитывать конкретные условия коммуникации, ее типы, а также ее цели и задачи; отсюда и высокая оценка трудов Н. И. Жинкина, теория которого примечательна, правда, не только по этой причине (подробнее см. ниже). Нельзя не подчеркнуть, однако, что такое рассмотрение речевой деятельности было подготовлено не только советской школой философии и психологии речи, но и советской школой лингвистов. По-видимому, о плодотворном синтезе психологических и лингвистических исследований можно говорить именно в связи с ориентацией самой советской психолингвистики на прогрессивные взгляды в понимании главных функций языка и в соотношении явлений языка с мышлением, а также, что не менее важно, в понимании структуры и характера человеческой деятельности.

Первое можно связывать с осознанием социальной детерминации порождения речи, второе — с решением сложных и извечных проблем взаимодействия языка и мышления, третье — с трактовкой процессов речи как одного из важнейших видов собственно человеческой деятельности. Несмотря на существование разнообразных концепций по указанным проблемам и естественное расхождение взглядов по целому ряду вопросов, имеющих как более фундаментальный, так и менее фундаментальный характер, некоторые общие предпосылки теории речевой деятельности уже наметились. К таким исходным положениям мы относим прежде всего разделяемые едва ли не большинством советских исследователей мысли о функциональных характеристиках речевой деятельности, которые проявляются в любой речевой ситуации и которые, по словам Л. С. Выготского, заключаются в единстве общения и общения [ср. Леонтьев 1969, 32], в интеграции индивидуального и социального, единичного и общего.

Уже в работах Л. В. Щербы разрыв с сосюрговскими традициями ознаменован главным образом признанием социальной природы речи и составляющих ее отдельных актов речи. Нет таких аспектов речевой деятель-

ности, подчеркивал Л. В. Щерба, которые были бы полностью отделены от социального или социально не обусловлены [Щерба 1974, 29]. Социален и индивидуальный акт речи, ибо он направлен на собеседника и рассчитан на его понимание. Уже в этом качестве речь обслуживает общение, оказывается его средством и тем самым важным звеном в общем процессе коммуникации людей, который может быть как вербальным, так и невербальным. Чтобы установить, каким конкретным звеном оказался в коммуникативной цепочке данный индивидуальный акт речи, надо, конечно, восстановить всю эту цепочку. Но вычленивший таким образом акт речи выступает уже не только как лингвистическая и психолингвистическая, но и как социолингвистическая единица. На анализе речевых актов со всех этих точек зрения и строится исследование речевой деятельности; разные задачи исследования позволяют в то же время сосредоточить внимание исследователя на том или ином ракурсе речевых актов и даже на такой составляющей речевого акта, как речевое высказывание.

Нередко утверждают, что ключевые понятия современной теории речевых актов связываются с публикацией книги Дж. Сёрля 1969 г. [Безменова, Герасимов 1984, 152], и, что касается их классификации, это, безусловно, так. Нельзя не напомнить, однако, что на необходимость анализа речевой деятельности в терминах речевых актов указывали еще в 1963 г. Л. Р. Зиндер и Н. Д. Андреев [Андреев, Зиндер 1963]. Процессы говорения и понимания — это прежде всего акты речи, в ходе осуществления которых рождается речевой материал. И хотя, конечно, с появлением прагмалингвистики и с включением в нее теории речевых актов в самой теории речевой деятельности намечались существенные преобразования, нельзя думать, что только с формирования прагмалингвистики или коммуникативной лингвистики начинаются попытки заложить основы теории языковой деятельности.

По своим программным установкам и прагматика, и теория речевых актов как ее составная часть направлены на изучение вербальной коммуникации. Такие задачи, как изучение моделей коммуникативного воздействия языка или моделей использования определенных форм языка в конкретных условиях и для достижения конкретных целей, разработка когнитивных моделей производства и восприятия речевых актов и т. п., — все это, конечно, по крайней мере на первый взгляд сближает указанные направления лингвистики с психолингвистикой. На практике, однако, указанные дисциплины решают разные задачи, а психолингвистика с течением времени перестраивается.

Достаточно упомянуть в этой связи о том, что в одной из первых работ, посвященных выделению психолингвистики в качестве особой дисциплины, она определялась как «научное изучение процессов кодирования и декодирования в актах коммуникации и соотношения характеристик сообщений в зависимости от роли коммуникантов в акте коммуникации» [Osgood, Sebeok 1954]. Однако уже спустя десятилетия Р. Титоне сужает и уточняет ее задачи, связывая психолингвистику с попыткой объяснить, «как намерение говорящего трансформируется в сигналы приемлемого кода и как эти сигналы, в свою очередь, трансформируются в интерпретацию слушающего» [Титоне 1984, 338]. Примечательно также, что речевое поведение говорящего рассматривается им прежде всего как направленное на передачу информации и как отражающее его роль в познавательном процессе. «...Глубокое

изучение речевого поведения... — подчеркивает он, — возможно только на основе познавательной теории» [там же, 342].

Мы привели эти высказывания лишь для того, чтобы показать, что при всей заманчивости синтеза прагматики с психолингвистикой и существовании несомненных точек их пересечения [ср. Леонтьев 1972] ориентируются они на достижение разных целей. Так, прагматика явно уходит от постановки проблем о языке и мышлении, о роли языка в процессах познания, о соотношении языка и действительности в отражении действительности и т. д., но для психолингвистики они по праву продолжают считаться едва ли не центральными.

В одном из первых психолингвистических исследований по онтогенезу речевых актов прямо указывается, например, что известные работы Остина, Грайса, Сёрля и других философов-аналитиков представляют интерес больше как иллюстрация развиваемого ими подхода, нежели как «источник информации для выводов» [Брунер 1984, 23]. Самим Брунером речевые акты описываются «для проверки гипотезы о том, что на ранних этапах язык... должен отражать природу когнитивных процессов, продукт которых он кодирует» [там же, 24]. Эта линия анализа — от мысли к языку — отчетливо прослеживается и в работах советских психологов, закладывавших фундамент будущей психолингвистики.

Поскольку мы специально остановимся на освещении этих проблем в следующем разделе, здесь нам кажется достаточным указать на самый факт размежевания прагматической и психолингвистической по их отношению к проблемам соотношения вербальных структур с когнитивными. Можно и нужно, однако, указать и на другие пункты их расхождения, важные и для настоящей книги.

При исследовании речевой деятельности и речевых актов в психолингвистике все сконцентрировано на говорящем: анализируется его путь от мысли к слову и те механизмы, которые им пускаются в действие; исследуется то, как он строит речь, разворачивает ее, каковы используемые им единицы и откуда он их черпает; делается попытка воссоздать весь процесс вербализации его замысла и даже превербальные этапы этого процесса. Эти же задачи ставятся и в настоящей книге, хотя посылно всюду, где это было возможно, мы следовали указанию Соссюра о том, что они имеют право ставиться в лингвистике «лишь постольку, поскольку они связаны с языком» [Соссюр 1977, 57].

При исследовании языковой деятельности (функционирования языка) и речевых актов в прагматике ставятся иные проблемы, связанные с влиянием речи на слушающего, с ее непосредственным эффектом и уместностью в данное время и в данной ситуации. В говорящем интересует в основном лишь то, адекватно или нет выбрал он языковые средства для достижения поставленной цели и какие стратегии им использованы, соблюдены ли им условия истинности высказывания или его искренности и т. п. Отсюда внимание к принципам коммуникативного сотрудничества и к тем выводам, которые слушающий может извлечь из сказанного.

Трактуя речевой акт как действие (просьбу, угрозу, приказ, извинение, вопрос и т. п.), в прагматике упускают из виду, что далеко не все случаи речевых действий могут быть отождествлены с действиями практическими (не случайно в быту распространено убеждение в том, что слово противоположно делу или может с ним расходиться). Изучая эту сторону деятель-

ности в языке, прагматика оказывается скованной анализом определенных типов речевых высказываний, носящих ярко выраженный прагматический характер, чего не может быть в лингвистике речи в целом. Напротив, хотя функциональные характеристики отдельных речевых актов и накладывают свой отпечаток на разновидности речевой деятельности (ср., например, спонтанную речь в отличие от обдумываемой заранее), на современном этапе психолингвистики важнее установить общие принципы разворачивания и порождения речевого высказывания.

В специальной литературе уже указывали на тот факт, что в прагматике изучается, собственно, не язык, а поведение человека в то время, когда он пользуется языком [Ромашко 1984, 140]. Можно полагать в то же время, что в психолингвистике изучается не все поведение, а лишь речевое поведение человека, да и в фокусе постоянно находится связь между содержанием, мотивом и формой речевой деятельности, с одной стороны, и между структурой и элементами языка, использованными в речевом высказывании, с другой. Здесь важно как раз то, как почерпнутое из языка (системы) становится фактом речи и как происходит само такое «извлечение». Опять-таки в психолингвистике поведение человека анализируется в иной плоскости: для исследования путей, форм, способов и средств вербализации мысли, для анализа соотношения когнитивных и языковых структур, для изучения творческих начал в человеке и т. д.

Любопытно напомнить в этой связи, что уже более полувека тому назад Б. Малиновский противопоставлял разные подходы к исследованию языка: подход филолога и подход этнографа. Первый предполагает, по его мнению, рассмотрение языка как средства общения, коммуникации, передачи мыслей и обмена ими; второй представляет собой подход к человеческой речи как к форме социального действия, поступка. Язык, — подчеркивал Малиновский, — носит по своей примарной функции и по своему происхождению утилитарный характер; это тип человеческого поведения, необходимый компонент человеческой деятельности. Материалом для исследований первого типа являются письменные памятники, тексты, вырванные из контекста ситуации; ясно, однако, что материалом для исследования второго рода подобные тексты являться не могут [Malinowski В. (1923) 1949].

Из рассуждений этого типа нередко делаются крайние выводы: так, прагматически ориентированное изучение языкового (речевого) поведения говорящих должно быть противопоставлено лингвистическому, поскольку якобы «лингвистический анализ языка не может служить в качестве прочной базы для моделирования речевого поведения на естественном языке в речевых коллективах» [Narasimhan 1981, 144 и сл.]. Вместо этого предлагается изучение «наивного» типа речи, обнаруживаемого в простых беседах, разговорной речи, речи детей. Мы, безусловно, таких установок не разделяем. Но, наверно, сказанного выше достаточно и для того, чтобы понять, как тонка и ненадежна граница между тем, что надо и чего не надо делать в психолингвистике, и как на самом деле трудно найти сбалансированное решение о степени вторжения психолингвистики в сферу коммуникативной лингвистики, прагматики и т. д. Принимая во внимание некоторые обстоятельства речи и по возможности учитывая их влияние на речевую деятельность говорящего, мы все же в значительной мере абстрагируемся от них и в своем исследовании основываемся именно на лингвистическом анализе

и на лингвистически обнаруживаемых особенностях функционирования языка в рамках речевой деятельности.

По-разному решаются в прагматике и психолингвистике и проблемы «языкового осознания» происходящего: каждый шаг в актах коммуникации рассматривается так, как если бы он был итогом сознательного решения, однако, не исключено, что это не так. Значительная часть речевых действий совершается автоматически и бессознательно. Дело психолингвиста — установить, какая часть и какие именно речевые операции совершаются в ходе сознательного размышления, а какие, напротив, не подлежат рефлексии.

Важное место отводится сейчас в обеих науках и проблеме понимания [ср. Meaning and understanding 1981; Понимание как логико-гносеологическая проблема 1982; Киселева 1978, 4 и сл. и др.]. Именно в теоретической прагматике, — подчеркивает Л. А. Киселева, — широко распространена точка зрения, согласно которой «прагматические свойства и отношения... не выражены средствами знаковой системы»; они лишь выявляются при интерпретации речи и оказываются тем самым результатом понимания произнесенного или написанного людьми. Этот акцент на то, что лежит за системой, на то, что сверх системы, и отличается наиболее очевидным образом прагматику от психолингвистики. В речевой деятельности, — так, как она изучается в настоящей книге, — преимущественное внимание уделяется как раз тому, что выводимо непосредственно из текста, и той информации, которая связана с присутствующими в речевом высказывании языковыми знаками и правилами их сочетания¹. Психолингвистика не случайно в ее классической форме строится на данных эксперимента и на том, что он обнаруживает.

Выходы за пределы языковой системы нами поэтому хотя и намечаются, но специально не исследуются. Возможно, что именно в этом отношении наш подход отличается не только от прагматического, но и от собственно психолингвистического. Думается, однако, что дело лингвиста заключается как раз в том, чтобы показать возможности истолкования всех проявлений языка с точки зрения знаний о языке, а не знаний о мире.

Конечно, речевая деятельность есть не только манифестация системы языка, но и проявление индивидуального опыта и индивидуальных знаний этой системы говорящим. Тем самым она представляет собой реализацию языковых способностей, языковых знаний, дара речи отдельной личности. Не случайно поэтому психолингвистика может быть определена и как наука, изучающая языковые способности говорящих во всех их аспектах и характеристиках. Психолингвистика строится на анализе лингвистических и психологических основ активного владения языком. Естественнее всего проводить подобный анализ на исследовании такого отдельного «кванта» речевой деятельности, как речевой акт и составляющие его речевые высказывания. Однако, если анализ направлен при этом на уяснение подоплеки речевой деятельности во всех ее разновидностях, если он к тому же связан с определением общечеловеческих по своей природе механизмов речи, то и в исследовании речевых актов могут быть намечены лишь его отдельные стороны.

Так, например, несмотря на то, что целью речевой деятельности является

¹ Ср. интересное и показательное в этом отношении исследование деформаций нормативного текста у И. Н. Горелова, свидетельствующее о том, как говорящий, оценивая актуальную ситуацию общения, реализует некую коммуникативную программу вербальными средствами и при этом устраняет «все вербально-избыточное, дублирующее иные, невербальные средства понимания» [см. Горелов 1980, с. 70 и др.].

общение и замысливается она как имеющая вполне определенный адресат, в связи с чем мотив речевого акта формируется нередко под влиянием конкретного партнера, начала речи можно рассматривать в известном смысле и абстрагируясь от реакции слушающего. Точно так же, несмотря на то, что в реальной речевой деятельности многие привычные речевые акты выглядят как простые копии других, мы изучаем механизм речи так, как если бы он вводился в действие для объективации нового замысла и новой мысли.

Выдвижение речевого акта в качестве своеобразной единицы речевой деятельности представляется нам существенным не только в целях адекватного описания порождения речи в ее превербальных этапах, на стадии зарождения замысла речи, но особенно для характеристики номинативного аспекта этой деятельности [ср. Кубрякова 1976; 1979, 1980; 1984]. Между тем в работах по психолингвистике понятие речевого акта используется в целом несравненно реже, нежели в лингвистике и прагматике, и, видимо, настало время ввести его в обиход и в психолингвистических исследованиях.

Мы разделяем мнение тех лингвистов, которые полагают, что понятие речевого акта является одним из наиболее плодотворных в современной лингвистической теории, «ориентирующим лингвистические исследования на изучение функционирования языка в коммуникации» [Wunderlich 1980, 291]. Существует мнение, что классификация речевых актов способствует разработке основ адекватной теории речевой деятельности [ср. Безменова, Герасимов 1984, 174]. Думается, однако, что в психолингвистике должны быть предложены и свои собственные классификации — одна из них завершит и настоящую книгу.

Рассматривая речевой акт как минимальное звено речевой деятельности, а первое речевое высказывание в нем — как начало речевого акта, мы, конечно, полностью соглашаемся с тем, что «не совокупность изолированных речевых актов составляет объект лингвистики, а система речевых действий, речевая деятельность» [Леонтьев 1969, 27]. Это не мешает, однако, начинать изучение речевой деятельности с выделения и анализа отдельных речевых действий и строить поэтапное представление речевой деятельности, основываясь на их различии: индивидуальный речевой акт как в капле воды отражает общую схему речевой деятельности.

В настоящем исследовании мы придерживаемся взглядов Б. А. Серебrenникова, который подчеркнул, что «язык вплетен в речь, присутствует в каждом речевом акте» [Серебrenников 1983, 12]. А раз так, то «совершенно ясно, что если язык ингредент речи, то в самой речи должен также содержаться элемент социального, общественно релевантного» [там же]. Таким социальным, общественно отработанным статусом обладают и речевые навыки, и речевые механизмы, и речевые операции, используемые в порождении речи. Их-то мы и пытаемся определить. Ставя перед собой задачу обнаружения неких глобальных характеристик речи, мы полагаем, что адекватное определение речевой деятельности может быть достигнуто только при условии понимания ее места в предметной и коммуникативной деятельности человека. Истоки такого понимания уже заложены в так называемой деятельностью теории речевого поведения человека. К рассмотрению этой теории мы и переходим в следующем параграфе.

2. КАТЕГОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООБЩЕ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТНОСТИ

Современному знанию о природе и конкретных факторах речевой деятельности более всего соответствует «деятельностное» ее представление, т. е. ее трактовка как определенного вида человеческой деятельности. Подобная концепция речевой деятельности является значительным достижением советской психологии и советской психолингвистики. Впервые она была создана Л. С. Выготским. Возрождение интереса к его работам в 60-е годы, развитие его идей, а позднее и выдвигание на этом фундаменте новых идей в школе А. Н. Леонтьева, широкое распространение деятельностного подхода в советской философской и методологической науке [см., например, Постовалова 1982, 13 и сл.] — все это сыграло значительную роль в уточнении понятия речевой деятельности и принесло в ее понимание свои плодотворные результаты. Ведь столкновение языка как деятельности, имеющее в лингвистике давние традиции, знаменовало собой некогда новые веяния в определении языка и его изучении. При кажущейся близости этих направлений в психолингвистике и лингвистике они все же были ориентированы на изучение разных объектов, так что несмотря на известные линии пересечения изучение языка как деятельности и изучение речевой деятельности принимало разную форму. Небезынтересно отметить в этой связи, что философская категория деятельности использовалась прежде всего именно для характеристики речевой деятельности. Сделав главным объектом своего анализа речевую деятельность, психолингвисты стремились учитывать при ее определении основополагающие признаки деятельности как таковой.

Важно отметить и то, что само рассмотрение процессов говорения и слушания в качестве деятельности иногда вызывало возражения на том основании, что речь лишь использовалась в разных видах человеческой деятельности, редко являясь целью сама по себе [Леонтьев 1969, 27]. Но ведь, как правильно подчеркнул А. Е. Супрун, все зависит от того, что называть деятельностью, и вместо бесплодных рассуждений о словах гораздо целесообразнее «попытаться выяснить, в чем специфика речевой деятельности, чем она сходна и чем отличается при сравнении с другими видами человеческой деятельности» [Супрун 1980, 4]. В настоящем параграфе мы и попытаемся обобщить некоторые результаты осмысления категории деятельности в философской и методологической литературе и экстраполировать выделенные здесь признаки, распространяя их на категорию деятельности речевой. Можно сформулировать это и по-иному, подчеркнув, что мы ставим здесь вопрос о том, что дает понимание структуры деятельности вообще для определения и характеристики речевой деятельности.

Принцип деятельности сыграл исключительно важную роль в формировании и обосновании социально-исторической концепции марксизма [Юдин 1976, 6]. Методологическая плодотворность этого подхода в его марксистской интерпретации, основу которой составляет понятие предметной деятельности, уже была доказана развитием целого ряда наук. Особенно эффективным оказалось его применение в психологии, тем не менее и здесь уже нельзя довольствоваться простым применением общего понятия деятельности и ее структуры в рамках известной схемы, включающей в сферу взаимодействия человека с миром не только субъект и объект, но помещающей между ними и определенную деятельность [Кристостурьян 1976, 9—10].

Несмотря на то, что категориями деятельности в психологии занимались по крайней мере четыре разных направления (бихевиористское, фрейдистское, социологическое и, наконец, конструктивистское), многие проблемы, связанные с пониманием деятельности, остались нерешенными «Главнейшая из них — проблема строения уже сформулировавшихся (интериоризованных) форм психической деятельности» [Зинченко, Мунипов 1976, 47 и сл.] — имеет прямое отношение и к речевой деятельности. Ключ к ее решению — в рассмотрении деятельности предметной как основополагающей для всех остальных видов деятельности и потому выступающей как своеобразный прототип деятельности вообще и обладающей всеядностью этого объяснительной силой [Зинченко, Мунипов 1976, 48]. Предметная же деятельность была охарактеризована наиболее полно не в рамках какой-либо отдельной науки, а в рамках работ общепсихологического и общепсихологического характера, осветивших всесторонне вклад марксистской теории в ее изучение. Поскольку, несмотря на существование значительного количества публикаций на интересующую нас тему, обобщающей работы, которая подвела бы итоги анализа категории деятельности по всем параметрам, до сих пор не создано, нам приходится в этом кратком обзоре довольствоваться выделением тех признаков и свойств, обнаруженных в категории деятельности, которые могут быть использованы для объяснения деятельности речевой. Предлагаемый ниже обзор ставит поэтому своей целью произвести известную конфронтацию понятия деятельности вообще и понятия речевой деятельности по тем параметрам, которые уже нашли свое отражение в специальной литературе.

Главное в марксистской философии заключается в признании неразрывной связи деятельности с действительностью: последняя рассматривается не как объект созерцания или непосредственного восприятия, но как включенная в деятельность человека по ее преобразованию, т. е. изменению природы и общества. Деятельность человека является тем самым обращенной на перестройку мира и обусловленной объективным в своей основе отражением его свойств. Любой вид деятельности связан в конечном счете с процессами указанной перестройки в практике людей. Несмотря на существование специфических черт, отличающих один вид деятельности от другого, при анализе категории важнее всего установить те признаки и свойства, которые присущи ей во всех случаях.

Человеческая деятельность представляет собой сложное и системно организованное образование, и потому охарактеризовать ее — значит определить ее функциональные и конструктивные начала, ее структуру. Деятельность выступает обычно в форме особого вида активности человека по отношению к природе и обществу, — активности, направленной на развитие и движение, а следовательно, и целенаправленной [Воронович, Плетнев 1975, 7]. «История, — подчеркивает К. Маркс, — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека» [Маркс, Энгельс, соч. т. 2, 102]. Таким образом, деятельность имеет прежде всего признак целенаправленности, и ясно, что этот признак характеризует и речевую деятельность как совершаемую постоянно ради достижения определенных целей.

«Одно из фундаментальных открытий К. Маркса и Ф. Энгельса, — подчеркивает А. П. Назаретян, — ... состоит именно в том, что социально-историческая форма движения не содержит в себе ничего помимо и кроме человеческой деятельности» [Назаретян 1981, 13]. Вся человеческая жизнь

может, соответственно, рассматриваться как совокупность, точнее, системы сменяющих друг друга форм деятельности [Леонтьев А. Н. 1977, 81]. Важно определить, какие именно типы деятельности характеризуют как обязательные жизнь человека и как вплетена в эти обязательные типы деятельности речь.

Исторически исходной формой чисто человеческого отношения к природе и обществу является предметная, практически, утилитарно ориентированная деятельность, в которой первоначально физические и духовные аспекты не разделены. Деятельное отношение к миру проявляется у человека в том, что в отличие от животных, тоже взаимодействующих с природой, форма активности связана не только с приспособлением к ней, но и ее преобразованием. Однако, для того чтобы подобное преобразование приносило свои результаты и было эффективным, деятельность человека должна быть организована как совместная, общественная (труд). В то же время процесс совместной практики людей требует для ее лучшей организации и координации определенных средств общения. Вступление в определенный тип отношений возможно лишь при условии наличия каналов коммуникации. Да и передача опыта от одного поколения к другому облегчается с возникновением средств общения; социальный опыт фиксируется как создаваемыми людьми предметами труда, так и языком [Коршунов 1979, 7 и сл.].

Человека отличает от животного, однако, не только эта способность к производству орудий труда (зачатки этих способностей обнаруживаются и у животных), но способность передать знания о том, как их сделать, от одного человека к другому и от одного поколения людей — к последующим [Narasimhan 1981, 2]. Человек создает к тому же схемы деятельности для вещей не природных, а созданных им самим [Ильенков 1977, 96]. В этом смысле и стоит поставить вопрос о том, что приобретает человек, развивая способность говорить и общаться с себе подобными при помощи языка. Однозначного ответа на этот вопрос сформулировать, конечно, нельзя, как нельзя перечислить исчерпывающе разнообразные и многообразные функции языка в человеческом обществе сегодня; но генезис языка не может не быть связан с решением этого вопроса. Здесь и возможность планировать действия заранее, и возможность «предупредительной деятельности», по И. П. Павлову, и возможности опережающего отражения действительности человеком [ср. Леонтьев 1969, 26—27], но, главное, по-видимому, возможности превращения материального в идеальное в сознании человека.

Нельзя не привести в этой связи знаменитое положение К. Маркса о том, что «язык так же древен, как и сознание...», и о том, что «...подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоящей необходимости общения с другими людьми» [Маркс, Энгельс, соч. т. 3, с. 29]. Указания эти, как совершенно правильно подчеркивает Б. А. Серебренников, «необходимо понимать в том смысле, что язык и сознание представляют два необходимых условия существования общества» [Серебренников 1983, 95]. Оба этих феномена детерминированы, следовательно, одним и тем же главным фактором — совместной деятельностью людей в обществе. В учении Маркса «деятельность предстала как процесс объективирования сущностных сил человека. Созидая продукты данной деятельности, люди, по Марксу, отчасти порождают, отчасти развивают свои собственные чувства, свое сознание» [Ярошевский 1972, 122].

Внедрение этих идей в психологию, а также их дальнейшая конкретизация были связаны с обоснованием принципа единства сознания и деятельности, с пониманием челючных связей между ними. Особенно в концепции С. Л. Рубинштейна обнаруживаются плодотворные мысли о том, что вещь как объект деятельности и ее образ в сознании человека связаны изначально, благодаря чему переход из сферы сознания в сферу бытия не требует их специального, дополнительного соотнесения, — он естествен [Рубинштейн 1957].

Важной особенностью деятельностного подхода является в марксистской философии и положение о творческом, не пассивном характере деятельности человека в обществе. Поведение человека должно содержать некие механизмы, которые позволяли бы ему реагировать на новые явления в окружающем его мире и справляться с теми проблемными ситуациями, в которые он в ходе взаимодействия с природой и другими людьми неизменно попадает. Активность человека должна регулироваться такими общими принципами, которые обеспечивали бы деятельность не только целенаправленную, но и деятельность творческую, гибкую, динамическую. Вся история человечества служила подтверждением этой стороны поведения людей, в связи с чем любой компонент поведения (а значит, и речь) не может не быть рассчитанным на подвижность и адаптируемость к новым условиям.

Материальное и идеальное оказывается тесно связанным через практическую деятельность людей. В субъективном образе объективного мира в качестве идеального все раскрывается через предметное бытие объекта и его функции в практической деятельности. Идеальное — даже в виде примарных, первичных ощущений — выступает как «способ явления объекта субъекту» [Гальперин 1978, 45]. В этих сложных процессах отражения действительности, невозможных без существования такого органа, как мозг, формируется не только человеческое сознание, но на его основе и вместе с ним — язык. Внеязыковые формы сознания — тоже идеальные — также отражают действительность, но лишь тогда, когда они обретают форму мысли, выраженной средствами языка, они могут стать достоянием другого человека и достоянием общества [Серебренников 1983, 96—97].

Естествознание, подчеркивал В. И. Ленин, «непреклонно стоит на том, что мысль есть функция мозга, что ощущения, т. е. образы *внешнего мира*, существуют *в нас*, порождаемые действием вещей на наши органы чувств» [Ленин т. 18, с. 88].

Широко распространено мнение, что труд, мышление, человек и язык появились одновременно, и лишь немногие ученые придерживаются иных взглядов. Думается, что правота на стороне последних. Для организации совместного труда были необходимы начатки сознания, некие предпосылки для осмысленного отношения к природе и возможностям использовать ее дары для поддержания и продления рода. Зачатки интеллекта появляются и у животных, но если признавать наличие сознания и у них, следует признать также, что сознание и речь вовсе не связаны в своем генезисе изначально, т. е. обязательной связью.

Замечательные соображения по этому поводу высказывает Л. С. Выготский: «В филогенезе мышления и речи мы можем с несомненностью констатировать доречевую фазу в развитии интеллекта и доинтеллектуальную фазу в развитии речи» [Выготский 1982, 102]. Почти дословно повторяет его и Э. Леннеберг [см. Горелов 1974, 11]. Для понимания речевой

деятельности это существенно, поскольку признание доречевых фаз в развитии интеллекта, естественно, объясняет существование аналогичных фаз в развитом интеллекте (при формировании мысли) и разрывает жесткую связь между мыслью и речевым высказыванием. Две линии развития этих феноменов наблюдаются и у ребенка (см. ниже).

С исключительной прозорливостью говорит Л. С. Выготский и о том, что соотношение между мышлением и речью человека на разных этапах его развития как в филогенезе, так и в онтогенезе не одинаково. Причина этого — разные генетические корни того и другого [иную трактовку см. Пименов 1978, 4 и сл.]. Схематически и весьма огрубленно можно было бы сказать, что интеллект способствует выживанию живого существа и его оптимальному приспособлению к окружающей среде, речь — дополнительно к этому — коренному преобразованию мозга живого существа в мозг homo sapiens'a с его способностью к планированию, предвидению, осуществлению высших форм психической активности — сознанию и, наконец, абстрактному мышлению.

«Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг...», — указывает совершенно недвусмысленно Ф. Энгельс [Маркс, Энгельс т. 20, 490].

Итак, человеческая деятельность изначально предметна, она и представляет собой жизненные, практические связи человека с миром, систему его взаимодействий с природой и обществом. Частью такой деятельности постепенно становится труд и вообще — сознательная деятельность людей. В процессе ее материальное «переводится» в идеальное, интериоризируется, и постепенно, с развитием речи, идеальное становится все более связанным с языком; тем не менее нет оснований связывать все идеальное в голове человека с языком и проводить знак равенства между идеальными концептами как таковыми с их языковыми коррелятами. Они появляются лишь в случае необходимости и в значительной мере — в речевой деятельности, требующей объективации идеального концепта языковыми средствами.

Мышление возникает на определенной стадии человеческого развития, подчеркивает А. Н. Леонтьев, причем оно возникает как дериват практической деятельности. Однако, возникнув и развиваясь, оно само становится далее источником особого вида духовного производства и мыслительной деятельности — научно-теоретического сознания. Появляется наука как специфическая деятельность по развитию и совершенствованию логических структур, абстракций, выработке научных понятий, созданию научно-теоретической картины мира, целой совокупности механизмов получения нового и выводного знания и т. п. Развитие науки происходит к тому же так, чтобы опережать отражение действительности и входить во взаимодействие с такими пластами объективной действительности, которые не могли бы никогда стать предметом практического освоения вне и независимо от теоретического сознания [Лекторский, Швырев 1981, 15 и 22].

Аналогичные суждения можно высказать и о языке: он тоже возникает на определенной стадии человеческого развития и тоже как дериват практической деятельности (что очевидно и в онтогенезе). Он также становится по мере развития источником особого вида деятельности, духовной по своим истокам, материальной по воплощению, речемыслительной по своей природе и возникающей в ходе тысячекратных повторений — сперва примитивных,

а затем усложняющихся речевых актов, разных по своим функциям, целям и даже способам осуществления. Обретая язык и овладевая всеми его механизмами, прежде всего именно механизмами речи, люди получают в свое распоряжение мощное средство общения и абстрактного мышления, они развивают способность оперировать любыми идеальными объектами, причем объектами разной сложности и природы, вне сферы их практического применения или наличия. А это кладет рубеж между языком человека и квази-языком животных [Лурия 1979, 12 и 28]. Фундаментальной способностью человека оказывается способность его сознания выйти за пределы наглядного и чувственного опыта, развить средства получения выводных знаний. Такое отвлеченное и обобщенное отражение мира — в масштабах, неизвестных другим живым существам, — и осуществляется при помощи языка. После того как язык создан (отработан в речевой деятельности миллиардов говорящих в своих первоначально примитивных формах), без него немислимы многие важнейшие виды и типы деятельности людей, и первичные его функции развиваются, уточняются и даже множатся. Для современного человека он неразрывно связан со многими сложнейшими психическими и мыслительными, когнитивными процессами и сам составляет их основу и средство их осуществления.

Хотя любая деятельность выступает как психический процесс, сущность ее раскрывается отнюдь не только в чисто психологических терминах. Здесь важны разные уровни ее рассмотрения. Если для формирования деятельности ведущими закономерностями являются социально-исторические, для понимания ее протекания следует обратиться также и к другому — сенсомоторному — уровню, где активность человека получает объяснение анатомо-физиологическое. Опять-таки на ином уровне абстракции изучается структура деятельности. Здесь ведущие факторы, действительно, психологические [Ярошевский 1972, 103; Роговин, Соловьев, Урванцев, Шотемар 1977, 82].

Неудовлетворительность прежних трактовок в этом смысле заключалась прежде всего в том, что деятельность рассматривали в рамках двухчленной схемы: стимул — реакция. Но тогда из поля зрения исследователя исключался как раз тот содержательный процесс, в котором или посредством которого осуществлялись реальные связи субъекта с предметным миром и который обуславливал реакцию как имеющую особую форму проявления. На деле между крайними членами рассматриваемой цепочки существует и среднее звено: «деятельность субъекта и соответственно ее условия, цели и средства — звено, которое опосредует связи между ними» [Леонтьев А. Н. 1977, 80—81]. Деятельность субъекта в этой триаде выступает как процесс, реальная функция которого состоит в том, что она ориентирует человека в предметном мире, да и сама деятельность существует первоначально как внешняя, чувственно-практическая. Так, в онтогенезе речевая деятельность существует как ориентационная и ориентирующая и на первых порах — как предметная, внешняя. Как в онтогенезе, так и в филогенезе ее переход в деятельность внутреннюю, интериоризованную — следующий шаг в развитии человека. В филогенезе он и связан непосредственно с появлением и развитием языка, а следовательно, с теми элементарными, простейшими актами речи, в ходе которых возникает и обрабатывается язык.

Поскольку речевая деятельность, как и любая другая, есть процесс

психический, ее, конечно, можно и нужно рассматривать как форму человеческого поведения. Здесь существенны заслуги бихейвиоризма, критика которого направлена главным образом на смещение уровней в анализе деятельности и пренебрежение детерминацией деятельности социально-историческими факторами. Нередко при оценке бихейвиоризма подчеркивается его механистический характер, ибо человеческое сознание трактуется при устранении сознания из сферы регуляции поведения. Вместе с тем здесь искали причинное объяснение поведенческим актам и пытались их «вывести из приспособления организма к проблемной ситуации, выход из которой выступал в качестве объективной цели поведенческих актов» [Ярошевский 1969, 108]. Именно поэтому опыт объективного изучения целесообразного поведения человека, накопленный в исследовании этого направления, сыграл важную роль в разработке знаково-операционных моделей поведения человека и в понимании таких процессов, как обучение, научение (learning) и решение проблем (problem-solving). «Слабость этой доктрины крылась в игнорировании предметного значения (содержания) знаков и самого предметного действия, зато им удалось формализовать всю структуру деятельности во всех ее звеньях» [Ярошевский 1969, 110].

Вот почему, давая принципиально новое объяснение таким выделенным звеньям структуры, как цель деятельности, ее непосредственный мотив и т. п., и введя новое звено в цепочку деятельности как таковой, советские психологи и философы подошли к более адекватному описанию и объяснению деятельности как структурированного явления. Выводы о строении деятельности и ее общих принципах мы можем перенести и на такую ее разновидность, как деятельность речевая. Как и всякая деятельность, она должна быть не только целенаправленной, социально-детерминированной, но и определенным образом структурированной и имеющей собственные средства ее осуществления. Нередко говорят поэтому, что деятельность как таковая имеет три стороны: целевую, мотивационную и исполнительную.

Это разграничение чрезвычайно важно для понимания речевой деятельности, ибо нередко она рассматривается прежде всего как «исполнительская» по своей сути (ср. в предыдущем параграфе), как простой способ выразить стоящее за актом речи мыслительное содержание и облечь его в языковые одежды. Как правильно подчеркивает А. Е. Супрун, «неточно отождествлять речевую деятельность с мышлением не только потому, что есть формы мышления, не обязательно или просто не осуществляющиеся в словесной форме. Дело еще и в том, что речевая деятельность направлена на общение, на передачу информации, в то время как мышление как таковое не имеет такой направленности. Известно, что человек — сознательно или бессознательно — значительную часть своей мыслительной работы не обнаруживает» [Супрун 1980, 7 и сл.].

Речь вплетена естественно в жизнь человека и существует как неотъемлемое звено ее многочисленных проявлений; как деятельность она нередко подчинена деятельности более высокого порядка [Леонтьев 1968, 31] и по отношению к ним может рассматриваться как исполнительная. Это ведет некоторых исследователей к стремлению вывести цели и мотивы речевой деятельности так далеко за ее пределы, что основным при анализе процесса речи оказывается глубокий учет тех субъективных и объективных факторов, которые характеризуют поведение говорящего и которые сами являются отражением целей и задач той конкретной деятельности, которой

занят человек в момент произнесения речевого высказывания. Нисколько не умаляя важности этой стороны речевой деятельности, а также важности описания ее в психологии, а возможно, и в социологии и т. п., мы все же полагаем, что известные ограничения в лингвистическом исследовании здесь внести необходимо. Раздвигая границы лингвистического анализа до бесконечности, мы не можем установить общие принципы речевой деятельности и прийти к разумной классификации речевых актов. При рассмотрении каждого речевого акта как явления индивидуального, неповторимого и уникального мы, наверно, не совершаем ошибки с психологической точки зрения или с точки зрения личности говорящего (хотя, наверно, подведение каждого такого акта под известный тип актов небесполезно и там). Однако с лингвистической точки зрения подобная позиция заводит нас в тупик. Вот почему строгое различие цели и мотива, потребности и мотива, принятое в психологии, здесь, возможно, и не обязательно (ср., например, классификацию типов речевой деятельности, предложенную А. Ф. Ширяевым [1978, 13 и сл.], где подобная дифференциация тоже не учитывается).

Иногда указывают вследствие этого, что речь в структуре неречевой деятельности (т. е. деятельности более высокого порядка, детерминирующей речь) лишь обслуживает эту последнюю; будучи подчинено общей цели человеческого поведения, речевое действие якобы не имеет собственного мотива, ибо оно возникает как следствие осознания целей и мотивов той конкретной деятельности, в которую включено [Тарасов 1979, 18 и сл.]. Не отрицая того, что условия общения определяются сложившейся конкретной ситуацией, а эта последняя составляет как бы фрагмент неречевой деятельности, мы все-таки не хотели бы согласиться и с этой крайней позицией. Коммуникативная природа речевой деятельности диктует необходимость более сложного и более тонкого подхода к разграничению целей, задач, мотивов и потребностей в разных типах, формах и видах этой деятельности. Однако на начальных этапах исследования речевой деятельности как деятельности особого вида целесообразно подходить к ней с той меркой, которая выработана для анализа деятельности как таковой и которая наименее зависит от внешних условий ее осуществления и одновременно от личности говорящего и его индивидуальных характеристик. Аналогией здесь является определение прямого номинативного значения слова как наименее зависящего от контекста его употребления.

Обслуживая разные виды человеческой деятельности, речь выступает всегда в одном и том же качестве, совмещая одновременное выполнение нескольких функций, и «большинство речевых актов имеет многоцелевой характер» [Супрун 1980, 23]. «Чистые», выполняющие только одну цель речевые акты скорее исключение; идеальный речевой акт и должен отражать, если он описывается как отражающий речевую деятельность, ее направленность на реализацию совокупности намерений говорящего: вступить в общение, передать нечто другому человеку и сделать это для чего-то. Такое понимание акта речи как акта коммуникации ставит в современной философии новую цепочку проблем, касающихся соотношения понятий коммуникации и деятельности и даже выбора наиболее рационального подхода к изучению речи либо в терминах деятельностного анализа, либо в терминах анализа коммуникативного. Здесь представлены две крайности: одна из них ставит исследователя перед дилеммой, сформулированной выше (либо-

либо). Другая крайность — полное стирание граней между деятельностью и коммуникацией, когда утверждается тождество активности и общения.

«Все виды деятельности суть разные формы человеческой коммуникации», — пишет, например, И. С. Кон [1970, 176]. В результате высказываются нигилистические суждения о возможности «дискретно выделить коммуникацию как самостоятельный вид деятельности в социальном процессе, т. е. противопоставить коммуникативную деятельность, или деятельность общения, предметной деятельности, а также дискретно разделить духовный и материальный труд» [Назаретян 1981, 11]. Однако несмотря на существующую сейчас в философии тенденцию сблизить разные виды деятельности — физический труд и интеллектуальные действия по решению проблем, деятельность предметно-практического, материального характера и деятельность умственную, идеальную, показать диалектический переход от одного к другому и т. д., стирать грани между крайними полюсами человеческой деятельности нецелесообразно. Нельзя смазывать границы и между коммуникацией людей, с одной стороны, и их деятельностью, с другой. К тому же, если при рассмотрении различий между духовным и материальным трудом можно наметить крайние точки указанной оппозиции, а также и некоторые случаи явно смешанного характера, противопоставление коммуникации (общения) деятельности (активности по взаимодействию человека с природой и обществом) строится по другому принципу, и его надо сохранить. Разные типы коммуникации существуют как маркирующие одну и ту же деятельность (например, духовную), и, напротив, один и тот же тип коммуникации может быть присущ разным типам деятельности (материальной и духовной), что создает сложную сетку их соотношений, нуждающуюся в специальном исследовании и специальном обосновании. Не случайно в противовес рассмотренным взглядам выдвигаются и прямо противоположные: так, например, Б. Ф. Ломов, подчеркивая нецелесообразность сведения всего многообразия видов взаимодействия человека с окружающим миром и другими людьми к общению, отмечал также, что те схемы, которые разрабатываются в психологии для анализа деятельности, не приложимы в принципе к анализу общения [Ломов 1979, 42; Брудный, Сыдыкбекова 1976, 136 и сл.].

Возможно, что так резко ставить вопрос и не стоит, но то, что при описании любого типа деятельности следует отделять присущие ей одной специфические характеристики, кажется не вызывающим сомнения. Так и при анализе речевой деятельности: указав на то, что делает речь деятельностью, а не просто и естественно протекающим процессом, мы должны описать и то, почему звенья этой деятельности и ее структура несут уникальный характер, что и отличает эту деятельность от всех прочих.

Первое — неправомочность отождествления деятельности с процессом — основывается на установлении иерархии этих понятий: сам процесс внешнего проявления речи (в устной или письменной форме) — только часть речевой деятельности, состоящей не только из последовательной смены разных состояний или перехода из одного состояния в другое (процесса), но и активности говорящего субъекта, вызывающей эту смену состояний и диктующей их последовательность, продолжительность, качественную специфику.

Второе — уникальность речевой деятельности как деятельности основывается по отношению к прочим типам деятельности, с одной стороны,

и по отношению к явлению коммуникации, с другой. Здесь явно можно выделить как вербальные, так и невербальные процессы и средства общения. Феномен речевой деятельности с философской точки зрения должен определяться не только в триаде «деятельность — коммуникация — речевая деятельность», но и при подстановке в первый член этой триады (т. е. при определении детерминирующей величины) двух разных единиц, создающих два разных направления в анализе речевой деятельности. Одна линия направления — это изучение речевой деятельности в схеме «предметно-практическая деятельность — коммуникация — речевая деятельность», другая — в схеме «духовная деятельность — передача информации — речевая деятельность».

Одновременно мы полагаем, что в научном описании речевой деятельности особое внимание должно быть уделено, как подчеркивалось выше, детальной характеристике структуры этой деятельности, что создает как бы третье направление в ее анализе, акцентирующее собственно лингвистические основания и предпосылки речи, — то, что мы называем изучением механизмов речевой деятельности. Примером анализа, выполненного в духе первого направления, может служить установление взаимосвязей между условиями коммуникации и признаками речевых высказываний при подходе к речевой деятельности как цепочке коммуникативных актов у К. Менг [Менг 1983, 223 и сл.]. Примерами анализа, выполненного в духе второго направления, являются работы, посвященные, например, разным видам и типам речевой деятельности (переводу, чтению вслух, декламации и т. п.). Но в настоящей работе нас интересует как раз третье. «Понятие "деятельность" содержит характерные для марксистской теоретической концепции деятельности компоненты, — пишет К. Менг [Менг 1988, 222]: мотив и цель, процессуальную структуру действий, конституирующих деятельность, и психическую регуляцию ее протекания на основе отражения объективной структуры деятельности». Настоящее исследование и мыслится прежде всего как анализ процессуальной структуры действий, приводящих к созданию речевого высказывания, иначе говоря — как анализ процесса порождения речи и определения места в этом порождении процессов и актов номинации. Ясно, что решение второго вопроса немыслимо без решения первого.

Думается, вместе с тем, что обзор литературы, приведенной в данном и предыдущем параграфах, и особенно рассмотрение основных теоретических положений, касающихся деятельностного подхода к анализу речи, позволяет, как нам кажется, представить само исследование динамической структуры речевой деятельности на более широком фоне, а следовательно, связать исследование и с более широким кругом понятий: активностью субъекта, творческим началом в его жизни и, главное, с пониманием роли языка в проведении и осуществлении всех важнейших видов человеческой деятельности: коммуникации, познании мира и фиксации его результатов, мышлении и деятельности мозга и т. д. Не даром само существование homo sapiens связывалось испокон веков с даром речи и его способностью говорить и использовать язык в самых разнообразных и все время усложняющихся функциях.

По К. Марксу, каждый тип деятельности «определяется своей целью, характером операций, предметом, средствами и результатом» [Маркс, Энгельс, соч., т. 23, 50]. С этой точки зрения мы и можем подойти к рабочему

определению речевой деятельности как типа деятельности, которая, будучи социально детерминированной и социально отработанной и в силу этого в конечном итоге подчиненной цели деятельности более высокого порядка (мышлению, коммуникации, предметно-практической или духовной, интеллектуальной деятельности с их конкретными задачами), определяется также и собственными целями: установками говорящего, его интенциями и его замыслом. Речевая деятельность — это деятельность говорящего субъекта, и в этом примарном качестве мы здесь ее и изучаем, описывая с позиций говорящего и анализируя, так сказать, в ее естественном виде — по ходу ее возникновения и протекания. Отсюда и акцент на создание речи и характер операций, отражающих ее истоки и ее результат: речевое высказывание.

Если характер этих операций связывает настоящее исследование с понятиями речевого действия, речевой операции и даже речевого состояния (ведь в процессе речевой деятельности наблюдаются постоянно переходы от одного состояния к другому — от активации сознания и введения в действие пружин речи до реального говорения, сказывания), то необходимость определить предмет речевой деятельности выводит нас, по всей видимости, в безграничный мир человеческих чувств и отраженной действительности в мозгу человека — все то, на что направлена его мысль, воля, эмоции. Становится очевидным также, как тесно связана речевая деятельность с ее средством — языком или же всеми языковыми средствами как таковыми, данным носителю в виде знаний грамматики и словаря, отдельных языковых единиц и правил управления ими, в виде навыков и стратегий обращения с готовыми сущностями или схем и моделей образования новых.

Связь речевой деятельности с языком мы усматриваем, однако, не только в том, что он является буквально средством ее осуществления в виде определенной данности, но и в том, что сама эта данность беспрестанно обновляется и творится в речи, здесь используется, а используясь, видоизменяется и преобразуется с соблюдением условий, диктуемых такими факторами, как преемственность поколений, пределы памяти, естественные ограничения человеческих способностей и т. д. Говорят иногда, что целевое назначение речи — отражение и проявление функций языка [Киселева 1978, 30] и что их связь здесь и реализуется. Речевая деятельность сопряжена, однако, не просто с выявлением неких заранее заданных функций, но, как мы уже подчеркивали выше, с их развитием, усовершенствованием, расширением и обогащением. Диалектическое единство языка и речи — это не просто слова о взаимодействии неких разных феноменов, а констатация двойственного характера и двойственной природы одного и того же объекта, который существует и развивается только в состоянии функционирования и использования определенным коллективом говорящих в актах живой коммуникации. — в речевой деятельности его носителей, создающих новые речевые произведения на этом языке и тем самым развивающих его.

В этом смысле можно вернуться еще раз к определению цели речевой деятельности и охарактеризовать в качестве ее собственной задачи и внутреннего собственного стимула цели правильного понимания и правильного восприятия сказанного, для чего, собственно, и приводится в движение весь сложный механизм порождения речи. В специальном исследовании именно эта цель привлекает внимание лингвиста и психолога, ибо если человек говорит ради чего-то, то, чтобы достигнуть этого, он должен быть понят и понят

правильно. Система языковых средств, в том числе и средств номинации, которая используется и создается говорящим в речи, должна быть, с одной стороны, системой общих с другим, т. е. разделенных средств, с другой стороны, системой средств, моделируемых по определенным правилам и подчиняющихся закономерностям, вызванным к жизни прагматическими факторами — памятью, простотой использования, гибкостью, подвижностью и т. д.

Характеризуя психическую деятельность человека, Л. С. Выготский проводит аналогию между обычными орудиями труда и речевыми знаками и делает вывод о том, что «определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления. Подобно тому, как применение того или иного орудия диктует весь строй трудовой операции, подобно этому характер употребляемого знака является тем основным моментом, в зависимости от которого конституируется весь остальной процесс» [Выготский 1960, 160]. Таким образом, ответом на вопрос К. Маркса о характере операции, используемой в данном виде деятельности (деятельности речевой), может быть и ответ о знаковом характере речевых операций и даже знаковом характере мышления (если полагать, как это обычно и делается, что речевая деятельность есть фактически деятельность речемыслительная). Как пишет В. А. Звегинцев, «реально язык существует лишь в своих воплощениях, имеющих полную знаковую форму. Одна из этих реализаций воплощается в речи. Но язык имеет и другую реализацию, и эта другая реализация воплощается в мышлении, которое также имеет знаковую форму» [Звегинцев 1973, 218]. Здесь важно, однако, подчеркнуть, что отношения между языком и мышлением понимаются нами как асимметричные и даже как однонаправленные: признавая возможность как вербального, так и невербального (невербального) мышления, мы полагаем одновременно, что любой сформированный результат речевой деятельности (речевой акт, который удалось зафиксировать в виде речевого произведения, речевое высказывание) свидетельствует о предшествующей работе мозга: нормальная речевая деятельность — свидетельство работы сознания и его доказательство, объективация, экстерниоризация и т. д. Путь мышления — не обязательно к речи; путь речи — обязательно от мышления. Проанализировать речевую деятельность — значит для нас прежде всего вступить в этот неведомый, невидимый и пока в значительной мере непознанный мир, который именуется сознанием или мышлением человека, а это значит одновременно — вступить и в мир догадок, интроспекции, предположений. Очевидно поэтому, что книга носит поисковый характер и что мы полностью отдаем себе отчет не только в исключительной трудности поставленной задачи (описать начала речи), но и в еще большей сложности доказательства тех или иных предположений, которые на настоящем уровне развития науки о процессах речи делаются по большей части чисто интуитивно.

Включение знаковых операций и операций со знаками в речевую деятельность и ее анализ уже означает, что она не может рассматриваться как отражающая «просто» использование языка. Напротив, можно согласиться с теми, кто полагает, что «знаковая природа речи создает предпосылки для признания особого психического статуса речевой деятельности» [Тарасов 1979, 25], хотя, по-видимому, не столько потому, что ее «сложная организация превышает классификационные возможности таких понятий, как внешняя деятельность и деятельность внутренняя» [там же, с. 25].

сколько потому, что «внешний» (материальный, материализованный) языковой знак (тело знака) как отдельная сущность и знак «внутренний» (концепт, сигнификат знака) должны быть в речевой деятельности соотносены и согласованы. Природа языкового знака маркирует речевую деятельность как явление уникальное, с лингвистической точки зрения могущее быть описанным через два разных этапа оперирования со знаками языка: номинацию и предикацию, т. е. семиологически [Степанов 1977; 19; Уфимцева 1984]. Обоснованию этой точки зрения на речевую деятельность и посвящается настоящая книга.

* * *

Представляется, что проведенный обзор выполнил, помимо своей интродуктивной цели, и другую функцию — показал, что при конфронтации понятий деятельности и речевой деятельности надо прежде всего обратить внимание на сходство их структуры. Однако этого мало. При соотношении указанных понятий мы стремились поставить три разных проблемы. Одна из них заключалась в том, чтобы выяснить, какие именно характерные черты понятия деятельности вообще могут быть перенесены на понятие речевой деятельности, с тем чтобы определить эту последнюю как особую разновидность деятельности. Это выявляет прежде всего конституирующие черты речевой деятельности и три ее аспекта — цель, средство и характер используемых операций, отсюда — о р а н и з а ц и ю деятельности. Другой проблемой являлось такое сопоставление понятий, при котором устанавливалась их иерархия, а целью сопоставления становилось выяснение роли речевой деятельности, неотъемлемой от роли языка, в процессе всей человеческой деятельности. Наконец, бегло очертив ход эволюции разных форм человеческой деятельности, мы стремились внести ясность в исходные установки книги, касающиеся генезиса речевой деятельности и ее связанности с развивающимся сознанием человека, его мышлением, его существованием в обществе и в виде активного преобразователя мира. Эти установки помогут нам перейти в следующем разделе книги к еще одной проблеме речевой деятельности — ее становления в онтогенезе.

Обобщив опыт предыдущих исследователей, мы смогли дать рабочее определение речевой деятельности и подчеркнуть необходимость ее изучения в трех разных планах — коммуникативном, когнитивном (по связи с мышлением) и, наконец, семиологическом. Теперь мы можем перейти к обоснованию подхода к речевой деятельности, принимаемого и развиваемого в настоящем исследовании, который связан с задачей изучения номинативного компонента речевой деятельности и который мы условно именуем ономасиологическим. Этот подход вбирает в себя все выработанное в рамках общей семантики и семиологии (семиотики), но обеспечивает особый ракурс рассмотрения речевой деятельности с позиций говорящего, который стоит перед задачей выбора или создания необходимых для осуществления речевого акта средств номинации. Более конкретно связи этого подхода с категориями значения, а также те понятия, с помощью которых в нем оперируют, мы и рассмотрим в следующем параграфе.

3. ПРИНЦИПЫ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НЕЙ ЕДИНИЦ НОМИНАЦИИ

Сущность развиваемого в книге ономасиологического подхода связана более всего с реальным направлением анализа и особой его ориентацией при изучении категории значения.

Вопрос о роли категории значения в системе языка вставал на всем протяжении истории языкознания, и его обсуждали ученые самых разных направлений и школ. Исследовали его и те, кто занимался общетеоретическими и общепрограммными проблемами языка, и те, кто пытался решить чисто практические задачи его описания. Составители нормативных, описательных, академических и сравнительно-исторических грамматик тоже неизбежно сталкивались с вопросом о том, как входит значение в описание грамматических явлений и единиц. С самого начала здесь были представлены разные точки зрения на необходимость или, напротив, нежелательность использования семантических критериев при установлении грамматических категорий и распределении разных явлений по разным разделам грамматики. «Не только возможно, но и желательно, — писал, например, Г. Суит, — трактовать форму и значение независимо друг от друга — по крайней мере в известной степени. Та часть грамматики, которая специально занимается формами и, по возможности, игнорирует значение этих форм, называется морфологией. Та часть грамматики, которая, по возможности, игнорирует различия между формами и сосредоточивает свое внимание на их значении, называется синтаксисом».

Критикуя эту точку зрения, О. Есперсен подчеркивал, однако, что «задача грамматиста должна состоять в том, чтобы постоянно держать в поле зрения обе стороны: звучание и значение. Форма и функция в жизни языка неотделимы» [Есперсен 1958, 40]. Пытаясь создать такую модель описания грамматики, в которой соблюдалось бы указанное требование, он одним из первых лингвистов эксплицитно изложил принципы подхода к одним и тем же языковым явлениям с разных сторон. По его мнению, любое языковое явление надо рассматривать либо исходя из его внешней формы, либо из его внутреннего значения. В первом случае мы отправляемся от формы и приходим к значению, в другом «мы отправляемся от значения и задаем себе вопрос, какое формальное выражение это значение находит в данном конкретном языке» [Есперсен 1958, 32—33]. С присущей ему тонкой наблюдательностью он отмечает, что разные эти подходы были использованы прежде всего в лексикографии. Так, в толковых и переводных словарях рубрики словарных статей фиксируют слова как формальные единицы, которым затем приписываются их значения. Идеографические же словари придерживаются противоположных принципов: здесь первоначально выделяется некая понятийная сфера (значение), и по отношению к ней указываются образующие ее слова.

Аналогичный путь описания фактов языка Есперсен хотел применить и в грамматике. В одной ее части он предлагал исходить из форм языка как его непосредственной данности и установить затем их значения или функцию, в другой, наоборот, — из значения или функции и определить, как они выражаются в тех или иных формах. Изложенные таким способом

факты отнюдь не повторяют друг друга. «Однако, — писал далее Есперсен, — существует целая сфера языка, для которой трудно найти место в установленной таким образом двухчастной системе, — это сфера значений слов» [Есперсен 1958, 4].

Между тем сегодня не вызывает сомнения, что принципы противопоставления разных направлений анализа могут быть использованы в семантике, и мы привели весь ход рассуждений датского лингвиста, чтобы подвести к мысли о том, что и в изучении категории значения можно пойти разным путем. Можно пойти по пути содержательного анализа готовой формы или форм и, наблюдая поведение определенной языковой единицы (слова, предложения), поставить вопрос о том, каково ее значение. Можно, однако, поступить по-другому: выделить некое интересующее нас значение и поставить ему в соответствие все те реальные языковые единицы, которые могут его выразить и передать. Ситуацию в первом случае называют анализом семасиологическим, ситуацию во втором — ономасиологическим анализом. По словам Ж. Марузо, ономасиология «исходит из идеи и изучает ее выражение» [Марузо 1960, 187].

В итоге в области семантики можно выделить разные разделы и разные дисциплины не только по тому, какие именно единицы (формы) языка становятся непосредственным объектом ее анализа (ср. противопоставление лексической семантики и семантики синтаксиса), но и по тому, какое направление анализа принимается при исследовании языковых явлений и что в нем принимается за данное, а что за искомое. Один путь исследования — это исследование «от звучания к содержанию», и он связан с постановкой вопроса «что значит данное слово, сочетание слов? и т. п.». Другой путь — это анализ «от содержания к выражению», и он связан с иной серией проблем: «какие существуют слова, сочетания слов и т. п. для выражения определенного содержания?» В современной лингвистике они получают разное наименование: один аспект исследования называют семасиологией (*Semasiologie*, *Bedeutungslehre*), другой — ономасиологией (*Onomasiologie*, *Bezeichnungslehre*), что позволяет противопоставить науку о значении науке об обозначении [ср. Dornseiff 1964, 89]. Теория обозначения, — указывает позднее Г. Гемпель, изучает связь предмета и его значения, обратную же связь изучает семантика [Hempel 1980]. В соответствии с этими принципами и формировались две разные области семантики, или два разных подхода к ее объектам — ономасиологический и семасиологический (семантический). С указанной точки зрения семасиологию и ономасиологию целесообразно считать двумя взаимосвязанными разделами семантики как науки, предметом которой является исследование значений языковых знаков [Новиков 1982, 5]. Каждый из этих разделов характеризуется собственным подходом и создает свои методики анализа. См. также [Гак 1977, особ. 244; ЯН I и ЯН II, Бондарко 1984, 12 и сл.].

Мысль о том, что семантика должна ответить на целый ряд прямо противоположных вопросов, получает свое новое подтверждение и при изучении функционирования языка, особенно при исследовании речевой деятельности. Речевая деятельность, разыгрываемая как минимум между двумя партнерами, говорящим и слушающим, и разворачиваемая как деятельность в беспрестанной смене ролей у того и другого, ставит человека то в позицию порождающего речь, то в позицию ее воспринимающего. Но сообразно этому он должен в процессе овладения языком выработать,

собственно, два разных механизма речи, один из которых служит для создания речи, а другой — для ее восприятия, один, который помогает производить речь, продуцировать ее, другой, который помогает ее понять. Поскольку содержательно и то, и другое и поскольку и без специального анализа ясно, что категория значения так или иначе включена в оба названных процесса — порождение речи и ее восприятие, говорение и слушание, производство речи и ее понимание, — изучающий речевую деятельность и описывающий ее механизмы видит ясно и две стороны семантики, и двойную роль категории значения в актах речи. В одном случае значение нужно для того, чтобы передать его другому; в другом — чтобы получить его.

Как бы ни строить процессуальные модели языка, воспроизводящие речевую деятельность, в них должны существовать поэтому звенья, связанные с обработкой категории значения: один раз потому, что значения надо как-то выразить и передать средствами языка, и другой раз потому, что значения надо как-то расшифровать, декодировать. Семантика создателя речи в известном смысле изоморфна деятельности ономастиолога: с позиции говорящего основное в порождении речи — найти надлежащую языковую форму для выражения мысли и ее содержания. Семантика получателя, в противовес этому, изоморфна деятельности семасиолога: с позиции слушающего главное, услышав речь или знакомясь с ее письменным отражением, прийти от готовых языковых форм к их интерпретации, к их содержанию.

Интересно отметить, что деятельность переводчика предполагает одновременное использование процедур и семасиологического, и ономастиологического анализа, только в обратном порядке по сравнению с нормальной речевой деятельностью. По словам А. В. Бондарко, «переводчик извлекает из того, что дано ему в тексте как языковые семантические функции средств языка А, заключенное в них мыслительное содержание, в том числе и реляционные понятийные категории (это соответствует анализу семасиологическому), и стремится передать это содержание средствами языка Б с их семантическими функциями (это соответствует ономастиологическому анализу)» [см. Бондарко 1974, 59]. Поскольку акт осмысления речи другого и передача содержания его речи средствами чужого языка здесь должны следовать друг за другом и поскольку процесс оформления чужой мысли поддается более непосредственному наблюдению и более объективному описанию, чем процесс рождения собственной мысли, в принципе переводческая деятельность может служить прототипом речевой деятельности и известным ключом к описанию механизмов этой последней. Во всяком случае у нее есть те очевидные преимущества, которых речевая деятельность как таковая для лингвиста лишена: в речевой деятельности исходным оказывается процесс формирования мысли, а этот процесс лишь с трудом поддается интроспекции и — еще менее — объективному анализу. Да и само совмещение семасиологического и ономастиологического анализа по отношению к одному и тому же объекту в высшей степени показательны и красноречиво свидетельствует о том, что экспериментальная проверка данных могла бы осуществляться именно при обращении к практике перевода. Ясно, по-видимому, и другое: взаимосвязь двух семантик несомненна так же, как и их разнонаправленность.

Как указывает А. В. Бондарко, «преобразование "понятийная категория — языковая семантическая функция" в мыслительно-речевом аспекте

является обратимым с точки зрения соотношения "говорящий — слушающий": говорящий идет от понятийных категорий к языковым семантическим функциям, тогда как слушающий — от языковых семантических функций к понятийным категориям» [Бондарко 1974, 70—71].

Как отмечает А. Е. Супрун, операции перевода представляют собой как бы объединение двух речевых актов, что опосредовано единством содержания информации в один акт, в котором прием и передача, обычно осуществляемые на одном языке, дифференцируются; прием на одном языке вызывает необходимость передачи на другом [Супрун 1980, 11]. Справедливо поэтому выделение перевода как особой разновидности речевой деятельности [Ширяев 198].

Противопоставление двух семантик имеет прямую параллель в сфере грамматики, где можно выделить и выделяют со времен Л. В. Щербы активный и пассивный ее аспекты [см. Щерба 1974, 56] или, чаще, в терминах, предложенных Ч. Хоккетом [см. Хоккет 1965], грамматику для слушающего и грамматику для говорящего, грамматику с позиций воспринимающего или же порождающего речь [ср. Норман 1978, 20—21]. Самое интересное при изучении двух аспектов речевой деятельности заключается, по-видимому, в том, что и здесь мы сталкиваемся с тем принципиальным различием фактов, наблюдающихся при разном направлении анализа, о которых писал еще Есперсен. Говорение и слушание протекают совсем не как зеркально отражаемые процессы, обратные по своей направленности, но как процессы в значительной мере асимметричные. Именно в этом коренится в конечном счете и то свойство известного несовпадения данных, необходимых для построения грамматики аналитической, с одной стороны, и грамматики синтеза, с другой [ср. Булыгина 1977, 85 и сл.].

Думается, что в целом этот тип асимметрии связан прежде всего с асимметрией языкового знака как такового и с проявлением этого свойства в случаях его употребления: одна и та же форма может служить источником разных значений, одно и то же значение может быть передано с помощью разных языковых форм. Стратегии говорящего заключаются в выборе надлежащей формы для передачи задуманного значения, стратегии слушающего — в выборе из возможных для данной языковой формы надлежащего значения. Трудно сказать, какие из этих стратегий более сложны по своему характеру, но не вызывает сомнения тот факт, что активная роль в создании и оформлении значений принадлежит именно говорящему [ср. Кацнельсон 1972, 106 и сл.]. Да и с чисто лингвистической точки зрения скорее легче проанализировать готовое речевое произведение, нежели восстановить путь его создания и формирования. Тем не менее в изучении речевой деятельности важным представляется именно это последнее, и в настоящей книге речевая деятельность рассматривается в первую очередь как деятельность по порождению речи и поставленная в заглавии книги тема — номинативный аспект речевой деятельности — исследуется тоже прежде всего с указанной точки зрения, т. е. по его роли в порождении, формировании речи. Главным направлением исследования становится в ней, соответственно, ономаσιологическое, помогающее определить пути перехода от замысла речи с ее развивающимся содержанием к языковым формам реализации речи, речевому произведению, дискурсу, тексту.

Таким образом, ономаσιологическое направление исследования принимается здесь не только потому, что в центре его внимания оказывается

номинативный (ономасиологический) аспект речевой деятельности, но и потому, что, по мысли автора, лишь оно может пролить свет на природу процессов, маркирующих зачины речи и характеризующих протекание речевой деятельности с позиций говорящего. Построению модели порождения речи с этих позиций и посвящается, собственно, настоящее исследование. Сказанным определяется и отношение автора к теории номинации, к ее положению в современной семантике, к тому вкладу, который внесла и вносит эта теория в изучение категории языкового значения, но главное — к тому, что можно ожидать от применения этой теории к исследованию речевой деятельности.

Уже в теории именованя, этом проработанном образе будущей теории номинации, подчеркивалась «орудность» имен и осознавалось, что в актах именованя проявляется структура языковой деятельности [Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975, 52 и сл.]. Впоследствии, однако, теория номинации развивалась прежде всего как теория, направленная на объяснение пути от вещи к ее обозначению, т. е. пути от предметного мира — к наречению отдельных фрагментов мира. Подобное представление о направлении ономасиологических исследований частично сохраняется и в современной лингвистике.

В одной из последних фундаментальных работ по языковой номинации А. А. Уфимцева указывает: «Ономасиологическим подходом исследования языка в отличие от семасиологического является тот, который рассматривает содержательную сторону языковых единиц не с точки зрения формирования их внутрисистемных значимостей и механизма семантического распространения слов и словосочетаний, а с точки зрения предметной направленности, т. е. соотносительности с внеязыковым предметным рядом как средства обозначения, именованя последнего» [ЯН I 1977, 19]. И, действительно, ономасиология занимается соотносением предметного мира с его членением посредством обозначения фрагментов такого членения, а номинативной деятельностью может считаться деятельность, направленная на *Worten der Welt* «ословливание» мира, на наречение его отдельных частей [ср. Караулов 1976, 19 и сл.; Полякова 1982, 4—5]. Но в указанной цепи соответствий надо уточнить: а) что подразумевается под отдельными сущностями внеязыкового мира, или его фрагментами, и б) как мыслится сам процесс подобного соотносения. С конкретизацией пункта «а» связано существенное расширение границ современной ономасиологии и, соответственно, проблем, которые ставятся и решаются теорией номинации. С конкретизацией и развитием пункта «б» связано еще одно важное обстоятельство: выделение в указанной цепочке такого звена, как осмысление вещи, понимание ее как объекта, на который направлена познавательная и практическая деятельность человека, а следовательно, звена, соответствующего отражению объекта в мозгу говорящего.

Как указывает Г. В. Колшанский, «сущность номинации заключается не в том, что языковой знак обозначает вещь или каким-то образом соотносится с вещью, а в том, что он репрезентирует некоторую абстракцию как результат познавательной деятельности человека, абстракцию, отображающую диалектическое противоречие единичного и общего реальных предметов и явлений» [Колшанский 1976, 12]. Хотя в приведенном определении, казалось бы, вещь и мысль о вещи жестко разведены, а в речевой деятельности акты номинации могут выступать именно как соотносящие вещь и ярлык, обозначение вещи, на деле обозначается, называется

как вещь, так и — прежде всего — отраженный в голове человека образ вещи, представление о ней, некий концепт, в конечном счете — понятие. В этом смысле можно утверждать, что «номинация есть не что иное, как языковое закрепление понятийных признаков, отображающих свойства предметов» [Колшанский 1976, 19]. Такие понятийные, а в нашем представлении и образные признаки, отображающие свойства предметов, связаны уже с категорией значения и процессом семиозиса, закрепляющим совокупность значений за языковым знаком, а следовательно, сопряженным с актом номинации. Сказанное позволяет объяснить, почему ономаσιολογическое исследование мыслится нами не столько как протекающее между предметом и его обозначением, сколько как принимающее форму «от значения (концепта, понятия) — к средству его выражения».

Для понимания речевой деятельности очень важно обратить внимание именно на то, что в акте номинации получают название лишь те реальные или фиктивные объекты, на которые направлена деятельность человека. Сами объекты могут принадлежать миру внешнему и миру внутреннему, они могут составлять равно принадлежность мира действительного (так, как он есть) и мира вымышленного, выдуманного (отсюда проблема иных миров), но название дается «остановленной» мысли об объекте. В любом случае поэтому акт номинации представляет собой речемыслительный акт, в протекании которого не может быть выключено промежуточное звено: когнитивное, отражательное, концептуально-логическое или образное, но деятельностное, т. е. свидетельствующее о включенности подлежащего наречению объекта (или совокупности объектов) в деятельность и жизнь человека. Именно этим путем теория номинации смыкается для нас с рассмотренной выше категорией деятельности вообще и с речевой деятельностью как ее особой разновидностью, в частности.

Интересно отметить, что такое расширительное понимание ономаσιολογии не противоречит ее традиционному истолкованию. «Дано понятие "покупать"», — писал по этому поводу Ж. Марузо; ономаσιολογии надо решить, «при помощи каких слов выражается оно в данных языках?» [Марузо 1960, 187]. Подобные вопросы и ставит перед собой постоянно говорящий, порождая речевое высказывание и перебирая знакомые ему языковые формы в поисках средств реализации своего замысла. Конечно, уровень осознания всех мельчайших оттенков значения при выборе формы или при ее восприятии у слушающего иной, чем у лингвиста, тем не менее суть вопросов здесь во многом одинакова, и на часть из них надлежит ответить семантике и ономаσιολογии.

Теория номинации составляет сейчас важную область исследования, и ее определение как «ядра семантики» у Ю. С. Степанова далеко не случайно [Степанов, ЯН II 1977, 353]. Ономаσιολογия использует данные этой теории не только для того, чтобы на ее основе установить отношение знаков к объективной действительности, но и для того, чтобы осуществлять предсказания о возможных путях перехода от заданных значений к их выражению разноуровневыми средствами. При таком ее понимании важно определить, какие из языковых единиц мы считаем единицами номинации и вообще из каких средств строятся номинативные ресурсы языка и в каком виде они существуют в языковой системе.

В современном своем облике ономаσιολογия мыслится как объединяющая единицы номинации со всех уровней строения языка, и, на наш взгляд,

она включает единицы номинации любой структурной простоты или, напротив, сложности, любой протяженности, любого генезиса [Кубрякова 1977а]. Чтобы быть единицей номинации, эта единица должна удовлетворять одному требованию — обозначать, служить названием, выделять именованное как отдельную сущность и величину, осуществлять номинативную функцию, т. е. репрезентировать выделенный в акте номинации объект средствами языка и заменять далее этот объект его именем в речевой деятельности и в мысленных операциях с объектом.

Все указанные свойства связывались прежде всего с именами собственными, они-то и составляли тот пласт единиц, которые способствовали выделению ономазиологии в качестве отдельной дисциплины, но с течением времени этими единицами занялась ономастика, оставив ономазиологии область нарицательных имен. «Принцип именованности» изучался главным образом на именных классах, и всегда особая роль отводилась в теории номинации существительному. Изучение того, как осуществляется номинативная функция существительными, позволило выйти в сферу детальных классификаций слов этого класса и наметить параметры противопоставления отдельных разрядов существительных. В исследовании номинативных функций слова были постепенно втянуты и другие классы слов.

Такой подход был подготовлен в отечественном языкознании традицией рассмотрения частей речи как служащих обозначению разных сущностей предметного мира; особенно ясно он дал знать о себе в трудах академика В. В. Виноградова. В качестве слов-названий им рассматривались четыре кардинальных части речи, специфику которых он усматривал в том, что «этим словам присуща номинативная функция. Они отражают и воплощают в своей структуре предметы, процессы, качества, признаки, числовые связи и отношения, обстоятельственные и качественно-обстоятельственные определения и отношения вещей, признаков и процессов действительности и применяются к ним, указывают на них, их обозначают» [Виноградов 1947, 28]. Нельзя не отметить, что этот плодотворный подход, развитый советскими исследователями, во многом способствовал определению номинативной специфики слов разных частей речи и классификации словесных знаков по выполняемым ими функциям [ср. Уфимцева 1974; Кубрякова 1978].

Подробные описания того, в каких условиях слова выполняют свою номинативную функцию, привело к расширению объектов ономазиологического анализа еще в одном отношении и к вовлечению в него номинативных единиц с более сложной структурой. Чешские ученые, внесшие заметный вклад в развитие ономазиологических концепций, справедливо указали на тот факт, что в соответствии с традицией, намеченной В. В. Виноградовым, в качестве единиц номинации следует рассматривать не только слова, но и некоторые типы словосочетаний [ср. Kuchař 1968]. Подключение к средствам номинации единиц, больших слова, но эквивалентных ему по способности называть предмет, ввело в сферу ономазиологии аналитические наименования разных типов — несколькословные термины, фразеологические сочетания и обороты, а также и другие разновидности несвободных словосочетаний со связанными значениями [см. подробнее: Телия 1981]. В свою очередь это привело к рассмотрению в рамках теории номинации сложных проблем, относящихся к выделению языковых значений разного типа и к разграничению прямой и косвенной, первичной и вторичной и т. д. номинации.

До тех пор, пока ономазиология продолжала рассматривать в качестве своих единиц структуры, равные слову или эквивалентные ему по своему назначению, она оставалась наукой по преимуществу лексикологической и составляла, вообще говоря, часть лексической семантики. Однако понимание того, что языком именуется не только отдельные предметы, процессы, действия, признаки и т. п., но и целостные события, расчлененные ситуации и т. д., радикально преобразовало строение теоретической ономазиологии и общее направление проводящихся под ее эгидой исследований.

Наречение действительности, как было подчеркнуто в целом ряде работ советских исследователей (ср. прежде всего работы Н. Д. Арутюновой, Г. В. Колшанского, Б. А. Абрамова, В. Г. Гака, О. И. Москальской и др.), принимает гораздо более сложные формы, нежели полагали ранее, и может происходить в рамках целых высказываний и предложений. Включение пропозитивной номинации в число средств и видов номинации заставило признать, что «в общую теорию номинации (ономатологию), наряду с разделом лексикологии, трактующим наименования отдельных элементов внешнего и внутреннего опыта человека, входит раздел синтаксиса, изучающий способы обозначения целостных событий» [Арутюнова 1972, 299]. Значительные достижения советского языкознания оказались связанными с оригинальной концепцией номинативного аспекта предложения, а далее — с анализом зависимости номинации от занимаемого ею места в синтаксической структуре.

Если еще совсем недавно полагали, что «предикативными словосочетаниями, как средствами неноминативного характера, занимается наука о предложении» [Kuchař 1968, 120], то сейчас рассмотрение проблем соотношения коммуникации и номинации с новых позиций помогло пролить свет и на лингво-гносеологические и онтологические основы языковой номинации [Колшанский 1975; 1976].

В сущности, поскольку каждое речевое высказывание что-то значит, можно было бы исследовать и то, на обозначение какого фрагмента действительности оно направлено, или какой фрагмент действительности получил в этом высказывании свое обозначение [ср. Кривченко 1982]. Но все-таки речевое высказывание строится не для того, чтобы обозначить ситуацию, а для того, чтобы сообщить и рассказать о ней. Оно получает обозначение именно в этих целях, и хотя нельзя поведать о чем-либо, не обозначив этого, обозначение остается средством, а не целью речевого высказывания. Вот почему, полностью признавая саму теоретическую и практическую важность анализа номинативного аспекта высказывания, мы все же отказываемся от того, чтобы рассматривать всю речевую деятельность как цепь номинаций.

Нам понятно, почему некоторые лингвисты не признают за предложением способности именовать, подобно тому как это делает имя [см. Степанов 1981, 10], и закрывать глаза на специфику именования предложением, с одной стороны, и всеми непредикативными единицами, с другой, конечно не приходится. Думается к тому же, что и предложения разных типов способны на выполнение номинативных функций не в равной мере, и высказывания несентенционального типа (*Ну и ну! Что за бред!* и т. п.) с трудом связываются с идеей номинации. Условно помещая предложения в таблицу единиц номинации, мы все же далее придерживаемся в книге более традиционного понимания процессов номинации как специально

направленных на то, чтобы дать имя тому или иному набору значений.

Более того, мы полагаем, что как только возникает потребное в предложении сделать предметом обозначения, такая потребность реализуется за счет производного слова. Развиваемая нами теория словообразования, собственно, и основана на положении о том, что словообразование существует как специальная область моделирования таких единиц номинации со статусом слова, которые обобщают признаки обозначаемого, зафиксированные первоначально в суждении о нем. Ономастиологический подход к формированию производного слова позволил нам утверждать, что, формируясь, оно проходит путь от суждения о предмете к его названию, «вбирающему» в себя главный признак предмета, указанный в суждении, или даже несколько таких признаков (ср. *он ворует* — *он вор* и *он чистит трубы* — *он трубочист*). Отсюда и новое понимание места словообразования в системе языка и в теоретической ономастиологии — как промежуточного звена между «синтаксическим» разделом ономастиологии, где изучают обозначения средствами пропозиции и пропозициональных разверток, и разделом «лексикологическим», где изучают обозначения разными лексическими структурами. Отсюда и новое понимание словообразования в речевой деятельности как источника не только готовых номинаций, но и правил их образования по определенным моделям и схемам. Частью таких правил мы и считаем преобразование номинативного аспекта предложения в подлинную номинацию — номинализацию.

Поскольку мы больше к этой проблеме в книге не обращаемся, отметим, что словообразование связано с непредикативными знаками по своим конечным результатам (производным словам разных типов) и по целям осуществляемых здесь процессов (созданию мотивированных единиц номинации со статусом слова). Однако по своему генезису и синхронным истокам словообразование так же неразрывно, как с лексиконом, связано и с синтаксисом, ибо уходит постоянно в сферу предикативных знаков, пропозиции и в структуру суждения о предмете, явлении или признаке. Именно к сфере словообразования относятся по существу процессы, связывающие лексикон с синтаксисом и, напротив, синтаксис с лексиконом: процессы преобразования предложений, именуемые номинализациями и приводящие к номинализации-слову. Они-то и перекидывают мостик от предикативных к непредикативным знакам и отражаются в структуре производных слов в виде латентной предикации и такого моделируемого средства ее выражения и отражения, как словообразовательные значения.

Давно развиваемые нами положения о том, что за каждым мотивированным производным или сложным образованием (дериватом) стоит мотивировавшее его суждение, исходная дефиниция обозначаемого, позволяют изучить и описать во всех деталях акт номинации словообразовательного порядка, описать пути перехода от знаков-суждений к знакам-названиям и установить основополагающие структурные и семантические характеристики самого акта номинации. Ведь не вызывает никакого сомнения, что именно в процессе создания производных и сложных слов языка — процессе, поддающемся непосредственному наблюдению в живой речи, — как в зеркале отражаются многие отличительные черты акта номинации как такового, а следовательно стратегии говорящего, определенные связанные с ним речевые действия и операции и т. д. Если учесть далее, что из отдельных актов номинации складывается номинативная деятельность и что слово-

образование составляет существенную ее часть, станет понятным, почему обращение к словообразовательным процессам позволило обнаружить действие разных принципов в этих процессах (действие аналогии, ассоциативных процессов, механизма корреляционного и парадигматического связывания единиц в противовес чисто синтагматическому и т. д.) Понятно также, почему описание словообразования с ономаσιологических позиций подготовило почву и для более дифференцированного описания всей номинативной деятельности, которая ранее сводилась почти вся целиком к операциям выбора и поиска слова

Словообразование с его процессами превращения выраженной материально предикативной связи в латентную, скрытую, имплицитную позволяет поставить в новом свете еще один важный вопрос теории номинации — проблему соотношения номинации и предикации. В принципе они — как акты речемыслительной деятельности — никак не могут быть противопоставлены друг другу. Если рассматривать акт предикации (предикирования) в логическом смысле как приписывание признака его носителю, можно сказать, что и акт номинации есть в конечном счете установление принадлежности объекту (обозначаемому) такого лингвистического признака, как его имя (обозначение). Акт номинации предполагает установление соответствия имени данной вещи, однако его функциональная значимость именно в нахождении имени, названия. Такой функциональной ориентации у предложения, выражающего некую предикативную связь в специально для этого предназначенной форме, конечно, нет; направлено и ориентировано предложение на передачу сообщения, описание ситуации и ее анализ.

Цели актов номинации и актов предикации не тождественны. «Если слово именуется вещь,— пишет Г. В. Колшанский,— то высказывание квалифицирует вещь или процесс с точки зрения познания человека» [Колшанский 1981, 4]. В качестве референта слова — отдельно взятый объект, в качестве референта предложения — связи между отдельными объектами или между объектом и его признаками и т. п. Акт номинации направлен на обозначение сущности, понятой как нечто единое, хотя, возможно, и увиденной вместе с ее признаками (*у того большого многоэтажного дома; дом отца, перешедший ему по наследству* и т. д.). Акт предикации направлен на установление связей — в нем фиксируются соответственно прагматической или познавательной установке говорящего предмету и процессы в их реальных связях и отношениях, причем величины, между которыми подобная связь устанавливается, разведены и обычно дифференцируются

Различны эти акты и с точки зрения самой речевой деятельности: номинация нужна для фиксации пучка смыслов, соответствующих отражению единого (одного и отдельного) объекта, а предикация, напротив, для фиксации отраженных в голове человека связей между объектами. Или, как пишет Е. Л. Кривченко, номинация связана с классифицирующей деятельностью, и функцией ее является фиксация элементов опыта. Предикация связана с коммуникативной деятельностью, и функцией ее является создание коммуникативных единиц [Кривченко 1982, 44].

Конечно, когда в процессе речевой деятельности осуществляется «как выбор синтаксической конструкции, так и выбор слов для ее заполнения, оба эти акта связаны с номинацией» [Арутюнова 1972, 291]. Однако эта «связанность» в двух актах — собственно номинации и предика-

ции — носит принципиально нетождественный характер в силу различия функций этих актов. И хотя к обсуждению этой проблемы в заключительной части книги мы вернемся еще раз, определяя теоретические предпосылки нашей работы, мы с самого начала подчеркиваем, что в описании речевой деятельности феномены номинации и предикации рассматриваются нами не только как разные, но и как противопоставленные друг другу при переходе от мысли к речи.

Важнейшее понятие ономазиологии — акт номинации — одновременно и важнейшее понятие речевой деятельности. Под ним мы понимаем речемыслительный процесс, направленный либо на выбор существующего в языке готового обозначения для именуемого явления и мысли об этом явлении, либо на создание подходящего названия для него. В структуре этого акта различаются замысел говорящего и языковые средства его реализации, причем в речевой деятельности в качестве отправного пункта акта номинации оказывается сложное переплетение интенций говорящего и его личностных смыслов, т. е. индивидуальное смысловое задание говорящего. В соответствии с этим заданием им и проводится анализ ситуации, ее расчленение и детализация, выделение с необходимой в силу прагматических установок говорящего степенью точности отдельных подробностей и деталей в описываемой ситуации и т. д. Все это сказывается на выборе единицы номинации или ее создании, когда в акте номинации учитывается: а) источник номинации (в каком виде: готовом или создаваемом заново берется единица номинации); б) внешняя форма и протяженность этой единицы (номинация словом или словосочетанием, предикативным или непредикативным знаком и каким именно); в) внутренняя форма номинации (номинация мотивированным или же немотивированным знаком); г) семантические типы номинации (номинация прямая или косвенная, первичная или вторичная, буквальная или переносная и т. д.); д) адекватность акта номинации и, следовательно, внутренний контроль за ее уместностью, точностью и т. п.

Ниже мы постараемся подробно аргументировать возможность изображения речевой деятельности через призму распределения формирующихся у человека личностных смыслов, составляющих канву человеческой мысли, по отдельным единицам номинации и в соответствии с выбираемой симультанно синтаксической схемой будущего высказывания. Однако для доказательства реального протекания речевой деятельности по двум каналам — синтаксическому и номинативному — нам важно уже на этом этапе предварительного рассмотрения теоретических предпосылок исследования подчеркнуть, что говорящий с самого начала рождения речи сталкивается с возможностями выбора единиц номинации из определенной совокупности (см. табл.)

Таблица показывает, что каждый выделенный класс единиц номинации характеризуется неповторимым набором признаков, не повторяющихся для другого класса. Такими признаками считаются: а) синтетизм versus анализизм наименования, что позволяет противопоставить наименования, замкнутые рамками одного слова, несколькословным наименованиям; б) глобальность знака, его семантическая целостность versus расчлененности и мотивированности, что позволяет противопоставить слово производное как холистический знак всем прочим, демонстрирующим разную степень расчлененности: так, производные слова менее

Типы единиц номинации	Типы номинации				Способ хранения	Уровень (компонент) порождения
	синтет vs анал	глобальн vs расчл	отнош к предикации			
			с внутр	с внеш		
Слова (полнозначн.)	+	-	-	-	лексикон	-
Производные и сложные слова	+	+	+	-	грамматика	словообразование
Словосочетания	-	+	+	-		малый синтаксис
Предложения (высказывания)	±	±	-	+		большой синтаксис

расчленены в своей семантике, чем сложные, сложные — менее, чем словосочетания и предложения, хотя все перечисленные единицы составлены из более мелких единиц и потому передают свое значение через образующие их знаки и отношения между ними, в) отсутствие или же наличие предикативной связи между составляющими знаками, что позволяет выделить слово простое без этой связи и противопоставить его всем прочим единицам номинации, где эта связь присутствует либо в латентном, скрытом виде (ср. *дом отца, дом за рекой, большой дом*, с одной стороны, и *приезд из мы приехали, трубочист из он чистит трубы, домик из дом — маленький* и т. п.), либо составляет основу отношений между частями целого (пропозиция) и является внешне выраженной.

Таблица демонстрирует также, что слова как единицы номинации в целом характеризуются как синтетические знаки, т. е. синтезирующие свои значения под "крышей" единого знака, универба; но что внутри этого класса существуют две кардинальные разновидности слов — слова простые и производные, противопоставленные сразу по нескольким параметрам, ибо производное слово, как и сложное, характеризуется в отличие от простого наличием семантической расчлененности (этот факт проявляется в том, что дериваты — носители словообразовательных значений характеризуются "композиционной", а не глобальной семантической структурой), наличием внутренней предикации и, главное, возможностью либо храниться в лексиконе в виде готовых единиц, либо порождаться заново с помощью механизмов словообразования.

Предложения лишь условно могут быть причислены к единицам номинации: лексикон их не хранит (за исключением предложений-клише и фразеологических единиц типа пословиц, поговорок, афоризмов, сентенции и т. п., которые, строго говоря, и не являются наименованиями чего-либо, хотя и обладают номинативным аспектом). Различие между механизмами, действующими в сфере малого синтаксиса в отличие от тех, что имеют место в сфере большого синтаксиса, определяется тем, что только в рамках предложения находит полное и очевидное выражение предикативная связь (пропозиция) и что только на этом уровне моделируется общая схема строения предложения со всеми подчинениями, разверткой, включениями (embedding), модальной и перформативной рамкой и т. п.

Обычно в качестве «кладовой», откуда черпаются готовые единицы номинации, рассматривается лексикон, механизмы же извлечения единиц из этого лексикона связываются с памятью человека [см. подробнее, например, Клименко 1974, Залевская 1978, Nordman-Vonk 1979 и др.]

И, действительно, адекватная модель порождения речи должна учитывать память человека и такие ее виды, как память кратковременная и долговременная и т. п. [Kintsch 1977, Tulving 1972]. Но, как правило, человек оказывается перед выбором разноструктурных номинаций, поскольку он всегда может либо воспользоваться готовой единицей номинации, взяв ее из лексикона, либо создать эту единицу сам, используя для этого механизмы деривации единиц на любом из существующих уровней, т. е. прибегая к правилам деривации единиц. Такие правила тоже хранятся в его памяти, возможно, в виде образца, по аналогии с которым он создает новую единицу, возможно в виде более абстрактной схемы построения этой единицы, правила — схемы

Важной проблемой, встающей в связи с анализом роли разных номинативных единиц в порождении речи, оказывается поэтому вопрос о том, из чего строятся сами указанные единицы для говорящего и в каком виде хранятся они в его лексиконе (памяти) — в готовом или же разложенном на части. В ответе на этот вопрос мнения ученых расходятся, да и данные соответствующих экспериментов зачастую противоречивы. Так, трудно сказать, что является минимальной оперативной единицей — отдельное значение, отдельные морфемы, отдельные слова или некие готовые «полуфабрикаты» (словоформы, сочетания слов и т. п.). Трудно также сказать точно, в каких случаях номинативные единицы появляются в речи, будучи извлеченными из памяти целиком, и в каких, синтезируясь по неким правилам. Во всяком случае кажется несомненным, что говорящий владеет двумя разными механизмами речи: воспроизведения знакомых единиц и их извлечения из памяти, с одной стороны, и сборки единиц по правилам, с другой. Как действуют и сочетаются эти механизмы, надо изучать на каждом типе единиц номинации по отдельности.

Человек, говорящий *дай, чем писать* и т. п., прекрасно знает общепотребительные названия для карандашей, ручек, фломастеров и прочих орудий письма, но он предпочитает по тем или иным причинам не обращаться к готовой единице, а создавать ее заново (например, потому, что он не видит конкретного орудия письма, которое хотел бы попросить, или потому, что ему все равно, чем писать, а указание на конкретное орудие письма ограничило бы поиски необходимого ему предмета и т. д.). Мы привели поэтому таблицу единиц номинации, чтобы показать даже в таком схематическом виде, перед выбором каких единиц стоит говорящий и какие условия могут влиять на этот выбор.

Ясно, например, что чем более детальное описание ситуации предполагает говорящий, тем более расчлененными единицами номинации он пользуется; ясно также, что чем большее количество отношений и связей он хочет отразить, тем чаще обращается он к единицам, фиксирующим эти отношения, и т. д. В будущей грамматике для говорящего все предпосылки использования им тех или иных единиц номинации из возможного разноструктурного набора должны получить подробное описание: выбор единицы номинации соотносится с интенцией говорящего и структурно-семантическими особенностями этих единиц [ср. Кубрякова 1981; Никитевич 1980 и 1982]. Формат единицы, ее протяженность, ее расчлененность, возможность отразить с ее помощью те или иные детали ситуации, подчеркнуть те или иные моменты в ее характеристике — все это играет свою роль

при выборе единицы номинации или в акте ее создания. Задача номинативного компонента и заключается вследствие этого в организации такой системы номинативных средств, почерпнутых из разных уровней и подсистем языка, которая обеспечила бы оперативную и моделируемую по определенным законам деятельность по извлечению готовых единиц номинации из памяти или же по их созданию. Для простого функционирования этого номинативного аппарата он и сам должен отличаться, с одной стороны, исключительной гибкостью, подвижностью, с тем чтобы не сковывать творческого начала в порождении речи и предоставлять возможность создавать новые единицы номинации для новых смыслов. С другой стороны, он должен отвечать целому ряду чисто психологических особенностей, соответствуя ограниченной памяти человека, принципу большей доступности упорядоченной информации, легкости извлечения из лексикона и т. д. [ср. Beard 1981, 13 и сл.] Существуют, наконец, и лингвистические основы механизма номинации. Их-то и описывает ономазиология.

Итак, ономазиологический ракурс исследования выбирается в настоящей книге именно потому, что он позволяет восстановить некоторые важные моменты в порождении речи, обуславливаемые ее рассмотрением с позиции говорящего и необходимо охарактеризовать с этих позиций такую важнейшую часть речевой деятельности, как поиск, выбор или создание средств номинации. Последние же изучаются и анализируются в речевой деятельности как носители определенных языковых значений, в связи с чем номинативный аспект речевой деятельности рассматривается в настоящем исследовании не столько с точки зрения техники осуществления процессов номинации, сколько как неотъемлемая часть семантического компонента изучаемой деятельности.

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ И ЛИНГВИСТИКЕ: УРОКИ ПРОШЛОГО

1. НАСЛЕДИЕ Л. С. ВЫГОТСКОГО И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕВЕРБАЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На протяжении многовековой истории лингвистической науки в ней все время возникали новые проблемы и она стремилась к достижению разных целей. В современной лингвистике внимание ученых направлено на постановку и решение кардинальных проблем, относящихся к функциям языка в человеческом обществе и его способности служить важнейшим средством человеческого общения и передачи информации от одного человека к другому. Устами представителей разных школ и направлений беспрерывно подчеркивается, что главным для всей науки о языке является вопрос о том, как формируются, выражаются и передаются языковые значения. Соответственно этим взглядам определяющую роль в строении языка отводят семантике.

В предыдущем разделе мы пытались показать, что этот общий вывод может быть поддержан анализом развития речи и его следует распространить на более широкий круг явлений, предполагая по вполне понятным причинам, что с семантикой связаны многие этапы речевой деятельности. Ведь даже априорно ясно, что от каких бы явлений мы ни отталкивались в ее анализе — психических или лингвистических, мы неизменно приходим к заключению о содержательном характере этих явлений и об определенном их отношении к передаче того или иного содержания. Идет ли речь об интенциях говорящего и выражении его чувств или воли, определяем ли мы роль слова и предложения в речевой деятельности, устанавливаем ли природу неких речевых действий и операций, мы всегда вступаем в область соотношения в них формальных и содержательных моментов, а в конечном счете пытаемся выявить именно сами корреляты между (внеязыковым) содержанием и (языковой) формой. Кажется вследствие этого, что и существующие модели порождения речи должны учесть эти факты и представить такое описание механизмов речи, которое соединило бы внешнее проявление речи (фонацию, озвучивание и т. д.) с ее функциональными свойствами. Кажется также, что модели порождения речи должны выявить самое главное — показать, как разные наблюдаемые нами речевые действия служат главной цели речевой деятельности — передаче ею определенного содержания.

Однако в существующих моделях поставленные задачи решаются

либо фрагментарно, либо неконкретно, вследствие чего протекание речевой деятельности выступает не только как неясное в ее отдельных деталях, что вполне естественно, но как неясное по существу из-за отсутствия адекватного отражения семантических оснований порождения речи. Очевидно также, что при таком положении дел нельзя ответить и на вопрос о том, какова роль номинативного аспекта речевой деятельности. Весь он служит семантике и подчинен ей: задача обеспечения подходящими наименованиями — их выбор или создание — задача по преимуществу семантическая. С этой точки зрения описание номинативного аспекта речевой деятельности мыслится нами как часть семантического, а описание последнего предполагает точное представление о механизмах речевой деятельности на всех этапах ее проведения. «В поисках семантики» приходится поэтому обращаться к тщательной реконструкции каждого из выделявшихся этапов и изучить понимание переходов между ними.

Детальное освещение разных предлагавшихся ранее моделей порождения речи [см. Леонтьев 1969а, Лурья 1979, гл. X; Зимняя 1978, 50 и сл., 67 и сл. и др.] избавляет нас от необходимости снова возвращаться к этому вопросу, но не может освободить от анализа тех общих соглашений, которые уже достигнуты в изображении порождающего процесса, и от критического освещения того, что в этих моделях недостает для адекватного отражения происходящего в речи. Краткий обзор литературы по вопросу о моделях порождения речи, предлагающийся в настоящем разделе, отнюдь не ставит поэтому своей целью представить в систематическом виде все, достигнутое в интересующей нас области, но лишь оценить уроки прошлого и продемонстрировать конкретно, какие звенья порождающего процесса уже выделялись и на каких основаниях делалось такое выделение, какие конструктивные решения могут быть использованы из прошлого опыта и т. д. Исторический экскурс в настоящем разделе преследует, таким образом, вполне определенные цели — подготовить почву для представления новой модели порождения, показать уязвимые места или пробелы в ранее представленных моделях и, напротив, развить по возможности их рациональные начала, а частично и возродить то, что было в них некогда заложено, но что еще не получило должного обоснования.

Задолго до появления генеративной грамматики с ее центральным понятием порождения речи и представлением подобного порождения в виде рекурсивных процессов деривации на разных уровнях перехода от глубинных структур к поверхностным (подробнее см. ниже) в советской психологической науке был не только поставлен вопрос о том, как именно осуществляется речевая деятельность, но выдвинута плодотворная концепция фазового, т. е. поступенчатого, формирования, а далее и поэтапного протекания процесса речи. В то же время изучение этих процессов было в значительной мере подчинено рассмотрению сложных связей между мышлением и речью и определению роли языка в осуществлении человеком его высших психологических функций. Такая постановка вопроса позволила Л. С. Выготскому выдвинуть уже в 30-е годы нашего века ряд положений, основополагающих для понимания всей речевой деятельности, и предложить для ее характеристики целую систему понятий, которые опережают дальнейшее развитие лингвистики на полстолетия и лишь теперь находят свои частичные корреляты в работах других исследователей. Более того: как мы постараемся показать ниже, то, что у Выготского составляло единую систему понятий

и входило органически в целостную концепцию, в современных лингвистических теориях оказалось разобренным и даже распределенным по разным концепциям [ср. Ахутина, Наумова 1983, 197 и сл.]. В этом смысле нам предстоит вернуться к исходным постулатам теории Выготского и наполнить их современным содержанием, т. е. интерпретировать эти постулаты в соответствии с последними достижениями лингвистической, а по возможности и психолингвистической мысли.

В отличие от ученых своего времени Л. С. Выготский считает ложными предположения о том, что мысль по отношению к речи является превосходящим ее готовым образованием. Равно бесполезно, утверждает он, отождествлять мысль и слово или же полностью разъединять их. Если они одно и то же, между ними нельзя усматривать никаких отношений, и бессмысленно задаваться вопросом о том, что их связывает. Если же их разъединять, природа того и другого будет представлена искаженно. Если же смотреть на речь как на выражение готовой мысли, т. е. усматривать их связь в переводе с языка мысли на язык слов, есть опасность считать такую связь механической перекодировкой знаков одной системы (концептуальной, мыслительной, психической, но невербальной) в знаки другой, вербальной [Выготский 1982, 12—13]. На самом деле этот переход, который обозначается Выготским как «путь от мысли к слову», — процесс невероятно сложный, далекий от механического перекодирования чего-то готового, данного в речевое высказывание, процесс, в котором непонятно и сложно как раз то, «что лежит между мыслью и словом» [Выготский 1968, 187] (подчеркнуто нами. — Е. К.).

«В чем своеобразии нашей постановки вопроса?» — записывает Л. С. Выготский в конспекте своего доклада 1932 г. и отвечает: «Речь рассматривали как одежду мысли (Вюрцбургская школа) или как навык (бихевиоризм)» [Выготский 1968, 186]. В противовес этому он и выдвигает свое знаменитое положение о том, что мысль формируется в речи, или, как говорит он сам, «мысль совершается в слове» [Выготский 1968, 190 и 192]. Несмотря на то, что конкретные обстоятельства этого процесса нам и сейчас неясны¹, Выготским четко определены исходные установки в анализе речи. Ее истоки — в мозгу человека, где начинает складываться некая мысль; мысль не выступает в виде готового образования; она не представляет собой партитуры музыкального произведения, записанного с помощью нот, а потом лишь исполняющегося в неизменном виде. Для Выготского такое понимание речи было следствием вторжения в мир сознания, и оно знаменовало собой новый подход не только к речи, но и к мышлению. Для лингвистики же это было прямым указанием на то, что в описании речи надо начинать с ее превербальных форм. Думается, что ценнейшая часть наследия Выготского и связана с этим обстоятельством, как одновременно и с тем, что названные превербальные формы признаются несущими содержание.

Для многих ученых — современников Л. С. Выготского, да и для многих ученых сегодня, сознание и язык, говоря словами С. Д. Кацнельсона, «сопряжены между собой таким образом, что деятельность сознания всякий раз по необходимости сопровождается деятельностью языка, вызывая

¹ Ср. признание А. Р. Лурия о том, что вербализация мысли для психолога чрезвычайно сложна и что это явление «остаётся до сих пор наименее изученным в психологической науке» [Лурия 1979, 191].

к жизни единый и сложный по своему составу речемыслительный процесс» [Кацнельсон 1984, 4]. По нашему глубокому убеждению, однако, деятельность сознания отнюдь не всегда сопровождается деятельностью языка, и связь между указанными явлениями носит скорее односторонний характер. Всякая речь отражает некие процессы в голове человека и потому должна быть «возведена» к этим процессам, где и следует обнаружить ее истоки. Обратное, однако, неверно: не все формы сознания требуют языковой (речевой) деятельности и значительная часть мыслительных процессов протекает или в отвлечении от языковых форм [Горелов 1977; Серебренников 1983], или с такой опорой на эти формы, которые принципиально отличны от использования языковых форм во «внешней» (озвученной или записанной) речевой деятельности.

Иногда, противопоставляя категорию сознанию и категорию мышления, видоизменяют положение о неразрывной связи языка и мышления, называя мышлением лишь те формы сознания, которые опосредованы языком, т. е. отождествляют мышление с речевым мышлением. Но для Выготского такая точка зрения тоже была неприемлемой. Не случайно работы его последователей отражают поиски новых доказательств противоположного взгляда, а именно: перед тем, как пролиться дождем слов, стать речью, мысль должна пройти иную, невербальную стадию, материализоваться в голове человека каким-то иным способом. Прийдя в столкновение со словом, такое образование (цепочка представлений, образов и т. п.) живет какое-то время особой жизнью во внутренней речи, чтобы, обрстая как снежный ком вербальными значениями, вылиться далее во внешнюю речь.

В трудах Выготского выдвигается тезис о том, что превращение неясной, формирующейся мысли в ясную речь проходит несколько фаз, т. е. что в пространстве и во времени между мыслью и словом укладываются несколько различных процессов. Думается поэтому, что если одна часть работ Выготского обращает внимание исследователя на превербальную, долокутивную стадию речевой деятельности как на стадию ее подготовки и на процессы формирования мысли в терминах личностных смыслов (см. ниже), другая часть связана с попыткой расчленив саму долокутивную стадию, выделить здесь несколько разных звеньев (составляющих) единого процесса начинающего порождения речи, установить корреляты таких составляющих с разными явлениями в вербализованной речи и т. д. В терминах Выготского это последнее формулируется как проблема перехода от мысли к ее смыслу, а от смыслов во внутренней речи — к внутреннему слову, от внутреннего слова — к внешней речи; от смутного замысла речи — к развитию этого замысла первоначально во внутренней, а затем и во внешней речи при объективации замысла в постоянно развивающемся и подвижном виде.

Разъясняя эти взгляды Л. С. Выготского, А. Р. Лурия правильно указывает на то, что центральной проблемой формирования речевого высказывания оказывается «проблема перехода смысла в значение» [Лурия 1979, 193], и решение именно этой проблемы мы и считаем ключом к пониманию механизмов речевой деятельности как способных осуществить такой переход. Однако мы никак не можем согласиться с интерпретацией указанного перехода, который намечает далее А. Р. Лурия и который трактуется им как переход «от субъективного, еще словесно не оформленного и понятного лишь самому субъекту смысла к словесно оформленной и понятной любому слушателю

системе значений» [Лурия 1979, 193—194]. При всей правильности намеченного здесь пути «созревания» речи (от смысла — к системе значений) выпадают самые сложные и самые трудные для лингвистической реконструкции этапы: звено постепенного преобразования и р а з в и т и я самих смыслов, звено трансформации смыслов на всем пути порождения высказывания, с одной стороны, и звено объективации системы значений языковыми формами, с другой.

«В самом деле, — пишет Лурия, — то, что человек хочет сформулировать в своем высказывании, ему самому уже известно» [Лурия 1979, 194]. Аналогичные суждения высказывали и другие психологи. Но согласиться с этим, значит перечеркнуть исходный тезис Выготского о том, что «мысль совершается в слове», вернуться опять к положению о том, что речь есть одевание для готовой мысли. Но реальные ситуации зачина речи гораздо более сложны, а «известность» мысли до ее объективации может принимать достаточно разную форму. Иногда человек знает действительно точно, что он хочет сказать; чаще, однако, он знает скорее то, о чем он хочет говорить и по поводу чего торопится высказаться. Однако многое из того, что он реально скажет, ему заранее как раз неизвестно, ибо язык поможет не только оформить, но и сформировать произносимое суждение. Иногда все такое формирование происходит во внутренней речи, иногда оно продолжается и во время «сказывания», но иногда нет и самого этапа внутренней речи: речь спонтанна.

Следование духу теории Выготского предполагает нежесткую интерпретацию довербальных периодов речи. Оно позволяет предположить, что мышление, начатое на довербальном уровне, может стать толчком спонтанного возникновения речи, без этапов предварительного ее обдумывания, может — импульсом всестороннего размышления над тем, что сказать, во внутренней речи, но может — стимулом к потребности рассказать или спросить о чем-то, осмысленной лишь в самых общих чертах. Обычно же, как правильно указывает И. А. Зимняя, «то, что сказать, осознается говорящим в самом процессе говорения (если не в предварительной деятельности думания)» [Зимняя 1978, 73]. Иными словами, мышление продолжается во время речи, оно имеет место не только на этапе внутренней речи, оно продолжается и тогда, когда человек начал говорить и развивает свою мысль, разворачивая высказывание. Речь потому и выступает как невероятно сложный феномен человеческой деятельности, поскольку она не прерывает других видов человеческой деятельности и протекает параллельно им, требуя, таким образом, активизации человека в разных отношениях и плоскостях: активизации его сознания, осуществляющего контроль за речью и ее собственными механизмами (артикуляторным, фонационным, речедвигательным, т. е. сенсомоторным), и за тем, что стоит и движется за речью.

Организация речи в виде дискурса, цепочки высказываний, также позволяет предположить, что человек может говорить и думать одновременно, параллельно, т. е. осуществлять деятельность по разным каналам и объединять эту деятельность воедино. Пробелы между отдельными высказываниями столь незначительны, что программа следующего высказывания должна строиться параллельно произнесению предыдущего. Да и возможностей для внутренней речи здесь тоже вроде бы не остается, что также заставляет предположить факт ее необязательности для произнесения высказывания и его формирования.

Не отрицая возможности существования в голове человека прямых пред-

вестников речи и даже возможности на «языке мозга» (*lingua mentalis*), отличным от обычного вербального кода, запланировать заранее содержание будущей речи, мы никак не можем согласиться с положением о том, что это всегда так и только так. Идеи перевода с кода внутреннего, организованного не на основе вербальной символической системы, на код естественного языка, код внешний, могут, по нашему мнению, получить плодотворное применение только тогда, когда: а) будет подвергнут сомнению тезис о существовании жестких границ между неречевым и речевым; б) эти идеи окажутся связанными с пониманием гибкого и динамического характера преобразований на пути от неречевого к речевому, от мысли к слову. Именно так, наверно, следует понимать и тонкие замечания А. А. Леонтьева о том, что «в зависимости от экспериментальной ситуации субъект может избрать тот путь психолингвистического порождения высказывания, который в данных обстоятельствах является оптимальным» [Леонтьев 1969, 264]. Надо только слова об экспериментальной ситуации заменить словами «в конкретной ситуации речи».

Сказанным мы хотим подчеркнуть, во-первых, нетождественность разных схем порождения речи и, во-вторых, идею обычного для речевой деятельности постепенного видоизменения, уточнения, вообще — динамического развития промежуточных структур мысли-речи, включающихся в действие с момента активизации сознания и принятого человеком решения говорить и функционирующих с этого момента в виде Gestalt'a, меняющего свой материал и свою форму не только до первого произнесенного вслух слова, но и на протяжении складывания нескольких высказываний, их цепочки. Более того, мы хотим всячески подчеркнуть, что во время процесса «от мысли — к слову» может, с одной стороны, что-то теряться и отсеиваться, отсекается и устраняться, но может, с другой, что-то приобретаться, рождаться, возникать. Это мы и называем формированием мысли. Иначе говоря, смыслы точно так же не даны в готовом виде, как и одеяние для них; форма складывающегося высказывания не безразлична и не может быть безразличной для мысли; и хотя сами поиски формы объективации мысли стимулированы потребностями объективации ее содержания, раз возникнув или возникшая, языковая форма сама может служить источником новых значений и новых смыслов. Итак, между мыслью и словом могут существовать разные дистанции, не одинаковые а) для разных типов речи; б) для разных людей и их разных типов; в) для выражения мыслей разной сложности, отвлеченности и абстрактности/конкретности.

Ниже мы постараемся показать, почему намеченный Выготским и Лурия переход от мысли к слову трактовался по-разному и почему от них идут разные концепции значения и смыслов; отметим, однако, и здесь, что в нашей интерпретации наследия Выготского подчеркивается дистанция между мыслью и словом в разных типах речи. Так, ясно, что для заранее планируемой речевой деятельности типично не просто предварительное продумывание речи, но и ее последовательности отдельных важных пунктов и т. д. (ср. разговоры «про себя» и с самим собою). В то же время представляется очевидным, что речь может представлять собой мгновенную реакцию человека на происходящее перед его глазами. Особого размышления требует и речь диалогическая, в которой обмен репликами происходит с высокой скоростью, порою не оставляющей времени для тщательного обдумывания ответа. Да и как человек может программировать свои высказывания, если он не знает, с каким вопросом к нему обратятся? Таким образом, мы нередко наблюдаем

такие типы речи, в которых высказывание не имеет физической возможности быть обдуманым заранее. Ведь и в простой, обыденной речи мы не находимся в положении студента, которому отвели определенное время для подготовки ответа на заданный вопрос и который должен продумать все свои ответы заранее.

Из сказанного ясно также, что и этап внутренней речи не кажется нам обязательным этапом предречи, хотя в теории Л. С. Выготского и его школы считается, что личностные смыслы формируются именно во внутренней речи и что им еще до этого может соответствовать внутреннее планирование программы высказывания. Хотя разные трактовки внутренней речи и личностного смысла привели впоследствии к появлению разных вариантов моделей порождения речи, но сама идея о сознательном звене, относящемся к обдумыванию предстоящей речи и ее формы и предшествующем «речи внешней», повторялась как будто бы в неизменном виде. Никто поэтому, кажется, не эксплицировал вопроса о том, насколько обязательна внутренняя речь для возникновения внешней. Лишь в новаторских работах Б. А. Серебrenникова, обобщившего к тому же и отдельные мысли ученых по этому поводу и развитого идеи об авербальном характере некоторых типов мышления, выдвинутых ранее [ср. Горелов 1977], изложена концепция, позволяющая уяснить подлинный смысл соотношения мышления и языка во всей сложности и диалектическом противоречии этого соотношения.

Но истоки этой теории были заложены трудами советских психологов — Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна, и чаще всего она и разделяется лингвистами, близкими психологии и занимавшимися проблемами психологии речи. Так, излагая свою точку зрения на проблемы языка и мышления, Р. М. Фрумкина подчеркивает, что одной из ее теоретических главных установок, унаследованных от Л. С. Выготского, является его положение о том, что «известная часть процессов речи и мышления совпадает. Это — так называемая сфера речевого мышления. Но это речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни всех форм речи» [Выготский 1956, 139]. Не останавливаясь на этом, она развивает указанный тезис Выготского, утверждая, что «мышление невозможно без опоры на некоторую символическую систему», но одновременно указывая и на то, что «эта символическая система не обязательно совпадает с естественным языком» [Фрумкина 1981, 229]. Близкие этому мысли еще раньше высказывал и В. А. Звегинцев [1973, 230 и др.], и И. Н. Горелов [1974; 1977]. В психологии более позднего времени их активно развивал Н. И. Жинкин, о теории универсально-предметного кода (УПК) которого мы еще расскажем позднее; важно, однако, отметить и здесь, что в 60-е годы он настойчиво проводил в жизнь тезис о том, что мышление совершается не на естественном (национальном, как писал Н. И. Жинкин) языке, а на особом языке схем и образов, языке предметно-образного кода.

Воспринимаемая и обозначаема в сообщении ситуация отображается вначале с помощью особого языка невербальной формы: предметно-схемного или предметно-изобразительного. Как пишет В. Г. Гак, комментируя теорию Н. И. Жинкина, «этот язык непроизносим, в нем имеются только изображения, где элементы ситуации даны одновременно, а не во временной последовательности. Знак этого «языка» представляет собой означаемое натурального языка. Этот внутренний код лишен избыточности. Таким образом, сущностью процесса мышления является конструирование, посредством ко-

того производится отбор как содержания, так и языковых средств из необозримого множества элементов ситуации и языка. При переходе от предметного кода к естественному коду выявляются особые закономерности фонетической организации речи, а также отбора слов и конструкций» [Гак 1973, 363].

Теория Жинкина дает возможность представить работу мозга как относящуюся к анализу глобальной картины на внутреннем экране и осуществляющую по отношению к этой воображаемой картине те же операции, что мы производим при восприятии мира всеми органами чувств и прежде всего — зрительно. Закрыв глаза, мы легко восстанавливаем в памяти то, что недавно видели; этот образ лишен деталей или перенасыщен ими, мы можем видеть умственным взором ситуацию как остановленную (как на фотографии) или, напротив, как динамическую (как на экране кинофильма), но главное мы и здесь, внутри себя, можем продолжать членение картины, извлечение из нее каких-то сведений и даже оперировать ее отдельными деталями и приводить их в новое движение и состояние. Процесс мышления продолжается, и мы легко можем переходить от этих образных форм к вербальным, точно так же, как слово может стать субститутом в голове какого-либо концепта, концепт может быть субститутом реального объекта. Мышление есть знаковая деятельность, но «тела» используемых в нем знаков могут иметь разные субстраты.

Полушарные различия дают о себе знать и в том отношении, что типы людей различаются по тому, какой тип мышления — логически-речевой или образный — у них преобладает, но что в принципе существует и тот, и другой и что в каких-то ситуациях они расходятся, вряд ли сейчас вызывает сомнения. Сказанным мы никак не хотим преуменьшить исключительной важности языка для формирования мысли, для абстрактного мышления, для всей познавательной деятельности человека и т. д. Но между мышлением как таковым и речевым мышлением мы бы не хотели проводить знака равенства.

Занимаясь проблемами речевой деятельности, мы, естественно, занимаемся той частью мышления, которая с помощью языка приобретает языковую форму и становится, по хорошо известному положению К. Маркса, «непосредственной действительностью мысли» [Маркс, Энгельс, Соч. т. 3, 448—449], т. е. той его частью, которая протекает непосредственно в виде речевого мышления. Но это не снимает полностью вопрос о том, что предшествует речевому мышлению и с каких именно «показателей» мы можем говорить о появлении мышления речевого.

Рассмотрение этих проблем в более широком масштабе — дело будущих исследований, и без них мы вряд ли оставим поле догадок в интерпретации начал речи. Но ставить эти проблемы уже давно пора, а значит, и выдвигать некие предположения.

Хочется подчеркнуть вместе с тем, что одним из таких предположений является и выдвинутое выше положение о необязательности ступени внутренней речи для речевой деятельности, и защищаемое нами далее положение о разных формах переходов от внутренней речи к внешней.

Не вдаваясь в подробности понимания внутренней речи и в разночтения в ее определении, отметим только, что одно свойство приписывалось ей неизменно всеми: свойство предикативности. Как разъясняет А. Р. Лурия, «каждый человек, который пытается включить свою внутреннюю речь в процесс решения задачи, твердо знает, о чем идет речь, какая задача стоит перед

ним. Значит, номинативная функция речи, указание на то, что именно имеется в виду, или, пользуясь термином современной лингвистики, что есть "тема" сообщения, уже включена во внутреннюю речь и не нуждается в специальном обозначении. Остается лишь вторая семантическая функция внутренней речи — обозначение того, что именно следует сказать о данной теме, что нового следует прибавить, какое именно действие следует выполнить и т. д. внутренняя речь, оставаясь свернутой и аморфной по своему строению..., всегда сохраняет свою предикативную функцию» [Лурия 1979, 140]. Интересно отметить, что даже перечисление пунктов плана будущего сообщения (например, лекции) Лурия считает тоже носящим предикативный характер.

Такое понимание предикативности идет от Л. С. Выготского, который считал нужным различать психологический и языковой предикат лишь во внешнем высказывании; во внутренней же речи он считал любое «внутреннее слово» предикатом и писал: «...предикативность является основной и единственной (подчеркнуто мною. — Е. К.) формой внутренней речи, которая вся состоит с психологической точки зрения из одних сказуемых» [Выготский 1956, 364]. Поэтому для Выготского и слово *Аннушка* или *Б* в обстановке ожидания трамвая определенного номера такие же сказуемые (предикаты), как и слово *Идет* [Рябова, Штерн 1968, 91]. В качестве психологического предиката рассматривается, следовательно, любой признак отражаемой ситуации, когда существование этой ситуации берется за нечто исходное и само собою разумеющееся (с точки зрения говорящего). Но, строго говоря, мы никак не можем утверждать относительно ненаблюдаемой внутренней речи и всплывающих в ней внутренних слов их логико-грамматического или синтаксического статуса: мы не можем с уверенностью судить иногда о том, всплывает ли слово в голове человека как идентифицирующее тему будущего высказывания или же как характеризующее эту тему.

С когнитивной или психологической точки зрения, возможно, что речь идет уже о расчлененной ситуации и о выделении ее «нового» признака, но вполне может быть, что эта ситуация еще только начинает осознаваться, и от ее образа человек переходит к общему обозначению всей ситуации (номинативная функция!) с тем, чтобы далее — уже во внешней речи — произвести ее членение. Во всяком случае, нам хочется подчеркнуть, что с лингвистической точки зрения очень важно как раз то, какую часть будущего предложения сформирует такой психологический предикат и, в частности, станет ли он во внешней речи темой или ремой разворачивающегося предложения, обернется ли его субъектом или объектом, попадет ли он здесь в группу подлежащего или же группу сказуемого.

Продолжая пример Выготского, можно было бы сказать, что с лингвистической точки зрения интересно как раз то, родится ли на основе указанных психологических предикатов (во внутренней речи) предложение *Аннушка идет* или *Как долго нет Аннушки* или даже *Вот ведь оказия, одно Б за другим, а Аннушки все нет* и т. д. Идея о том, что одно или несколько слов во внутренней речи достаточны для самого говорящего, чтобы он мысленно ими оперировал и даже обрисовал себе в общих чертах некую ситуацию, вполне согласуется с интуицией и попытками интроспекции: договаривать все во внутренней речи нет решительно никакой необходимости. Исключительно важна и идея о внутреннем слове как толчке и пусковом механизме речи: представляется в то же время, что эта идея должна быть доведена до своего

логического конца, т. е. завершена рассмотрением лингвистического статуса слова во внешней речи, имеющего коррелят в речи внутренней. Таким образом, мы полагаем, что нужен анализ того, как слово внутреннее, перемещаясь во внешнее высказывание, приобретает в нем определенный лингвистический статус и становится функциональным аналогом разных элементов предложения. Но перед тем, как сделать это, мы должны рассмотреть более обстоятельно, какие характеристики приписывались Л. С. Выготским внутреннему слову и как соотносилось у него появление первого вербального символа во внутренней речи с формированием значений и смыслов будущего высказывания.

Заметим одновременно, что модель порождения речи, предложенная Выготским и затем развитая его учениками и последователями, может быть охарактеризована как «словная» (в отличие от «сентенциальных» моделей порождающей грамматики, ориентирующихся на порождение высказывания). В этом смысле она дает немало ценного материала как раз для понимания номинативных функций слова и вообще его роли в порождении текста, но оставляет без внимания ту сторону речевой деятельности, где важна организация синтаксических конструкций и их грамматическое оформление. Быть может, именно по этой причине ее главные достижения связаны с пониманием и описанием превербальных и начальных вербальных стадий порождения речи, где, действительно, прежде всего и бросается в глаза исключительная значимость слова и даже слова, взятого изолированно и рассматриваемого как самодостаточная величина.

2. ТРАКТОВКА Л. С. ВЫГОТСКИМ И ЕГО ШКОЛОЙ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОВА И КАТЕГОРИИ ЗНАЧЕНИЯ

В терминах современной науки оперирование вербальным кодом, т. е. процесс речевой деятельности, следует рассматривать на широком фоне всех возможных способов переработки внешней информации мозгом человека. Деятельность мозга сама понимается при таком подходе как деятельность интегративная, осуществляющая сплав и конвергенцию разнородных возбуждений и способствующая восприятию информации по самым различным каналам [ср. Залевская 1978, 17 и сл.]. Общие принципы работы человеческого мозга, постоянно совершающего операции по переводу с одного кода на другой, обязательны и для всех наиболее высоко организованных психических процессов, вследствие чего можно предположить, что переработка человеком внешней информации всегда осуществляется параллельно по ряду программ или, как это иногда формулируют, по разным каналам и на языке разных кодов, разных символических систем. Нечто аналогичное происходит и при переходе от мысли к слову, если, конечно, согласиться с Н. И. Жинкиным и другими учеными в том, что «мышление реализуется не на каком-либо национальном языке, а на особом языке, вырабатываемом каждым мыслящим человеком» [Жинкин 1970, 83]. Соответственно этой точке зрения заговорить — значит перейти от субъективного невербального концептуального кода, «кода образов и схем», к коду вербальных смыслов и значений. Заговорить — это значит прежде всего выразить некое содержание, составлявшее принадлежность интеллекта в виде смутного образа, представления, ощущение

ния, свернутой схемы, мысли, в иной форме — форме вербальной, языковой — объективировать это содержание с помощью языковых знаков.

Воссоздать этот процесс можно лишь путем интроспекции или наблюдая его результаты, т. е. дедуктивным путем, строя гипотезы о том, что является функциональным аналогом реальных зафиксированных в речевом высказывании языковых форм в мозгу человека. Одним из первых психологов, совершивших такую операцию реконструкции перехода от мысли к слову, был Л. С. Выготский. «То, что в мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно» [Выготский 1956, 378]. Мысль содержится в уме говорящего как некое целое, своеобразный Gestalt, речь выявит составные элементы этого целого и раскроет их содержание, но самое главное — разовьет мысль и представит ее в развернутой языковой форме. Средством такого разворачивания Выготский считал категорию значения.

Таким образом, почти полвека тому назад, значительно опережая свое время, этот ученый постулировал существование единицы, «которая далее неразложима и в которой содержатся свойства, присущие речевому мышлению как целому» [Выготский 1982, 16]. По его мнению, такой единицей является именно значение, которое, «как другая сторона Луны, оставалось всегда и остается до сих пор неизученной и неизвестной». И хотя доля правды есть в данных словах и сейчас, именно Выготскому и его школе принадлежит заслуга освещения этой стороны Луны с психологической точки зрения.

Обычно подчеркивают, что основное в трактовке значения у Л. С. Выготского — это обоснование процессуальной стороны этого понятия, его динамизма. «Значение как психологический феномен есть не вещь, но процесс», — указывал позднее А. А. Леонтьев, — «не система или совокупность вещей, но динамическая иерархия процессов» [Леонтьев 1971, 8; Выготский 1982, 304]. Утверждая это, ссылаются на то место в одном из неопубликованных ранее докладов Л. С. Выготского, где он говорит, что «значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто значительно более определенное — это внутренняя структура знаковой операции. Это то, что лежит между мыслью и словом» [Выготский 1968, 187].

Не вызывает, однако, сомнения, что такая интерпретация значения как процесса составляет специфику именно психолингвистического подхода к этому феномену и что подобное рассмотрение базируется главным образом на анализе поведения такого знака, как слово. Связано оно с признанием нетождественности механизмов, которые вступают в действие при извлечении слова из памяти, при его использовании в данной ситуации и для обозначения личностных смыслов. С одной стороны, эта интерпретация явно опирается на поведение слова в речевой деятельности и, следовательно, на функциональные особенности его употребления; с другой стороны, такая трактовка — неизбежное следствие особого понимания языка и его системы — «не как пассивного хранилища сведений о языке, а как динамической функциональной системы» [Залевская 1978, 7]. Это значит, что приводимые определения значения представляют собой попытку ответить на вопрос о том, что представляет собой значение в структуре речевой деятельности, причем именно в ее зародыше, зачатке, во внутренней речи. Уже это объясняет, почему лингвист должен скорее всего относиться к данной трактовке значения не как к концепции определения значения, но как к концепции его использования.

Ясно, что предлагаемая трактовка соотнобразуется с попыткой представить

путь «между мыслью и словом» и отразить динамику формирования мысли. Предельно четко выразит эту позицию С. Л. Рубинштейн: «...в речи мы формулируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем» [Рубинштейн 1940, 350]. Анализируя концепцию Выготского, надо всегда учитывать эту ее ориентацию на разъяснение понятия мысли, которая представляет собой, по его мнению, «лишь первоначальный, иногда еще недостаточный замысел, который отражает общую тенденцию субъекта и который не воплощается, а совершается, формируется в слове» [Лурия 1982, 474].

При всей привлекательности этих формулировок в них остается все же много неясного, а в отдельных высказываниях по одному и тому же поводу легко вскрыть и известные противоречия. Если значение принадлежит одновременно и царству мышления, и царству речи и является единицей речевого мышления, как то подчеркивает сам Выготский, и если оно в то же самое время — принадлежность слова, мысль, пусть смутная, нерасчлененная, неполная и т. д. все-таки изначально связана со словом, но тогда перехода от довербальной стадии к вербальной фактически не существует, т. е. довербальная стадия каким-то неуловимым образом — через слово и его динамическую семантическую структуру — уже опосредована языком. Вполне вероятно, что это именно так, но непоследовательность трактовки от этого не исчезает: включение значения слова в схему порождения высказывания есть одновременно включение в нее вербального элемента. В каком-то смысле мы, следовательно, опять возвращаемся от схемы «замысел → значение → слово» к схеме «мысль = значение слова». Преодолеть эту непоследовательность можно только «освободив» феномен значения от его материального субстрата, от знака, от слова как языковой формы. Но в теории Выготского такого «высвобождения» явно не происходит: для этого надо было бы признать значение идеальным концептом, имеющим некую самостоятельную форму существования невербального порядка (образ, сгусток представления, логический концепт и т. п.). Во всяком случае вопрос о природе значения или, в других терминах, о форме его бытования в голове человека, вопрос об обязательности его существования в языковой (прежде всего — словесной) форме так и не получает здесь окончательного решения. С одной стороны, как будто бы признается знаковая природа значения и его закрепленность за словесным знаком; с другой стороны, в значении подчеркиваются динамические свойства, его исключительная подвижность, и складывается впечатление, что как раз закрепленности значения за знаком не усматривают; системное значение знака подменяется понятием подвижного значения, знаковой операции, но в таком качестве значение перестает быть стабильным компонентом знака и лишается его «словарного» свойства.

Поскольку ни Л. С. Выготский, ни позднее А. Р. Лурия не говорят, может ли быть значение (как идеальная субстанция) свободным от материализующей его формы, представление о речепорождении относится ими по существу к тому уровню абстракции, на котором уже различимы и уже существуют некие вербальные формы. По-видимому, сам Выготский отдавал себе в этом отчет, ибо при описании внутренней речи — той формы мозговой деятельности, где, собственно, и происходит рождение речи (уже не мысли, а речи!), — он вводит специальное понятие для этой первичной, элементарной вербальной ячейки: понятие «внутреннего слова».

Представляя речевое мышление как сложное динамическое целое, Вы-

готский намечает путь «от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем — в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [Выготский 1982, 358]. Но что же такое внутреннее слово? По мысли А. Р. Лурия, комментирующего и развивающего это положение Выготского, в порождении речи и процессе формирования развернутого высказывания внутреннему слову принадлежит центральная роль. Внутреннее слово, или внутренняя речь, сокращенное и аморфное по строению, предикативное по функции, таит в себе все возможности уточнить мысль, материализовать ее и довести до полного высказывания. В выдвижении этого понятия Лурия, кстати, усматривал одну из наиболее значительных заслуг ученого [Лурия 1982, 475]. Но разматывая цепочку Выготского, надо соотносить не только внутреннее слово и слово внешнее, надо как-то найти место в этой цепочке и «значениям внешних слов» и их связям, с одной стороны, с внутренней речью (словом), с другой — словом внешним.

Подчеркивая отличия слова внутреннего от слова внешнего, Л. С. Выготский пишет: «Ведь слово как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя почти безгранично рамки своего значения. Во внутренней речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней» [Выготский 1982, 350]. Как можно заключить из этого определения, внутреннее слово, появляющееся во внутренней речи, оказывается для говорящего условной номинацией цепочки ассоциаций. Слово всплывает из подсознания не только как система своих связей, но и ассоциируемых с ним явлений, поэтому оно и «гораздо более нагружено смыслом», чем обычное слово. От этой символической номинации, возможно, еще и несовершенной, человек должен перейти к «правильному» слову. Значение внутреннего слова подвижно, ибо еще подлежит коррекции, исправлению, уточнению, — все его связи, релевантные для высказывания, должны быть выведены наружу.

Можно думать, что для Выготского внутреннее слово имеет как бы двоякую природу: с одной стороны, как словесный знак оно появляется во внутренней речи в качестве средства перевода неких образов на естественный язык, это — своеобразная реакция на возникшие представления и их определенная проекция. С другой стороны, появившись как конкретный знак, слово становится стимулом — не только меткой неких ассоциаций и их субститутом: оно само приводит в движение стоящую за ним цепь связей, коннотаций, представлений и т. д. Это близко мысли В. В. Виноградова, который писал: «Вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [Виноградов 1972, 17].

Именно в указанной двойственной природе слова мы видим ключ к решению проблемы словесного (лексического) значения и к выходу из того противоречия, которое усматривают между представлением этого значения либо в виде семантических признаков (сторонники компонентного анализа), либо в виде своеобразного набора тех лексико-семантических вариантов слова, которыми экспонируется лексическое значение слова в целом. На самом деле противоречия как такового здесь нет: чтобы слово стало номинацией комплекса смутных идей, ассоциаций, представлений и т. п., оно должно быть «собрано» из неких идеальных семантических (содержательных) сущностей (признаков, множителей и т. д.). Однако, чтобы не остановить формирование мысли, а, напротив, стать толчком к ее дальнейшему развитию, оно долж-

но тянуть за собой цепь новых ассоциаций и образов. Всплыв на поверхность в одном качестве (в виде собираемой сущности), оно тут же начинает жить уже в другом качестве, становясь отправной точкой для дальнейшего разворачивания и мысли, и речи.

Для того чтобы номинация словом стала возможной, надо извлечь из памяти каноническую форму обозначения необходимой в данной ситуации совокупности смыслов, найти подходящий эквивалент пучку признаков в виде слова (так, как мы делаем это при переводе, заменяя подчас длинный и развернутый синтаксический оборот одним словом, или так, как мы поступаем в актах словообразования, «сворачивая» аналитическую синтаксическую структуру в эквивалентный ей универб). Здесь срабатывают операции синтеза смыслов, и для человека, осуществившего подобный синтез, внутреннее слово, конечно же, богаче по содержанию, чем «обычное» слово. Вот почему, прежде чем переместить его в речь внешнюю, человек должен совершить некую операцию по контролю акта номинации и установить соответствие «своего» слова словам общепринятого языка, т. е. нормам его обычного употребления. Первая операция (по синтезу) была рассчитана на себя, но теперь наступает момент, когда надо проверить пригодность выбранного слова для другого.

Совершенно ясно также, что для осуществления синтеза в мозгу человека, в *lingua mentalis*, должны существовать и некие семантические признаки, абстрагированные от конкретных форм их носителей, а возможно, и не имеющие прямых коррелятов в словах естественных языков. Во всяком случае, соглашаясь с В. З. Панфиловым в том, что «содержание нашего сознания и содержательная сторона речи отнюдь не сводятся к сумме значений тех языковых единиц, посредством которых репрезентируется сознание или которые используются в речи» [Панфилов 1977, 36], мы вполне можем предположить существование неких идеальных величин (концептов) как единиц сознания. В более поздних психолингвистических исследованиях внимание ученых более привлекало нахождение психологического эквивалента языкового значения [ср. Брудный 1971, 19]; стремились определить ту идеальную субстанцию, которая в материальной форме знака непосредственно не выражается. Да и само значение понималось скорее как некий идеальный концепт, который, хотя и возникает на основе употребления слова, получает затем как бы самостоятельное существование вне его. «Под значением, — писал, например, А. А. Брудный, — подразумевается свойство знака нести информацию, и в процессе речевой деятельности это свойство реализуется» [Брудный 1971, 19]. Для Выготского, однако, значение обладало иными свойствами, и в приведенной формулировке Брудного оно соответствовало бы только определенной части информации: информации понятийной (сигнификативной) и даже, возможно, — информации о круге понятий, связанных с данным словом. В анализе концепции Выготского эти существенные различия лингвистических и психолингвистических трактовок значения учитываются далеко не достаточно, а зачастую не учитываются.

Для Выготского, как позднее и для Лурия, в семантической структуре слова выделяются и противопоставляются предметная отнесенность и значение, т. е. значение как феномен структуры слова не включает понятия о его предметной отнесенности. Мы стремимся показать, подчеркивал Выготский, что указанные понятия не совпадают [Выготский 1982, 313]: значение независимо от предметной отнесенности, сигнификация не зависит поэтому от

названия предмета и указания на него. Подобное противопоставление заходит для Выготского так далеко, что функции слова — индикативная, или номинативная, с одной стороны, и сигнификативная, с другой, расходящиеся, действительно, в онтогенезе речи, но позднее как бы соединяющиеся, — по-прежнему рассматриваются им как противопоставленные друг другу.

Эта же линия, хотя и в менее резкой форме, проводится и в трудах А. Р. Лурия. Слово описывается им как включающее в свой состав по крайней мере два основных компонента — предметную отнесенность, «понимаемую как функция слова, заключающаяся в обозначении предмета, признака, действия или отношения», и значение, которое понимается «как функция выделения отдельных признаков в предмете, обобщения их и введения предмета в известную систему категорий» [Лурия 1979, 51]. Соответственно значение представляет для этого ученого устойчивую систему обобщений, стоящую за словом, одинаковую для всех людей, но могущую при этом «иметь только разную глубину, разную обобщенность, разную широту охвата обозначаемых им предметов», хотя и при сохранении этой системой ее неизменного ядра — набора связей [см. Лурия 1979, 53].

Лишь с изложенных точек зрения понятно, почему формирование мысли связывается с внутренним словом и его значением, его системой и набором связей, т. е. скорее с сигнификатом слова, чем с его денотатом. В современных терминах можно было бы сказать, что денотат задает слишком жестко возможную референцию слова, ограничивая его неким классом предметов и понятием об этом классе. Сигнификат же слова более гибок — в него может входить разный круг понятий, да и глубина осознания и понимания этих понятий может быть различной. Более того: из объективной системы связей, одинаковой для всех людей, можно выбрать те, «которые имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации», а следовательно, на базе обобщенного и общего значения выбрать необходимую часть значения. Такое индивидуальное значение и есть личностный смысл. В итоге понятно и то, почему путь от мысли к слову лежит через значение: значение подвижно потому, что оно формирует смысл как значение личностное, индивидуальное. Смысл опосредован сигнификативным значением слова.

Теперь цепочка Выготского («мысль — значение — слово» («значение есть путь от мысли к слову») получает более ясное истолкование, преобразуясь в цепочку «личностные смыслы — внутреннее слово — системные значения — внешнее слово». Иначе говоря, мы рисуем путь от мысли к слову как проходящий две стадии «ословливания», или использования слова в двух разных функциях, о которых мы говорили выше. Первая стадия вербализации, заключающаяся в выборе и поиске «внутреннего слова», совпадает с формированием личностных смыслов и актом их номинации (слово₁), вторая стадия вербализации (выбор и поиск слова₂) знаменует иное: проверку того, насколько слово₁ может быть воспринято адресатом как общепринятое обозначение «его» смыслов. Слово₁ — до известной степени условная номинация (для себя); надо дать название цепочке сложившихся и формирующихся ассоциаций — глобальному Gestalt'у (от пучка смыслов — к названию). Для перевода его во внешнее высказывание надо решить, подходит ли оно — уже как носитель системных языковых значений — для выражения задуманного, а также решить, какими словами его надо дополнить. Здесь слово должно быть использовано для «перевода» на обычный язык, а для этого должен быть совершен акт установления соответствия выражаемых им

в системе значений тому, что хочет сказать говорящий. Здесь слово предстает как совокупность своих лексико-семантических вариантов, и отождествлено должно быть выражаемое значение с одним из них. Название, данное словом, проверяется с точки зрения его адекватности для слушающего, и если говорящий находит, что оно отражает как подходящая номинация его личностные смыслы, оно оставляется для перемещения во внешнюю речь и появляется как озвученное и произносимое слово. Если же после контроля оказывается, что выбранная номинация не соответствует общеупотребительному лексико-семантическому варианту слова, она отбрасывается и заменяется новой. Таким образом, слово₁ может быть равно слову₂, но может быть после перебора слов во внутренней речи (*рассказать... вчера... ссора... стычка... столкновение... нет, так... недоразумение*) заменено более подходящим. Попробуем изобразить это графически на схеме 3.

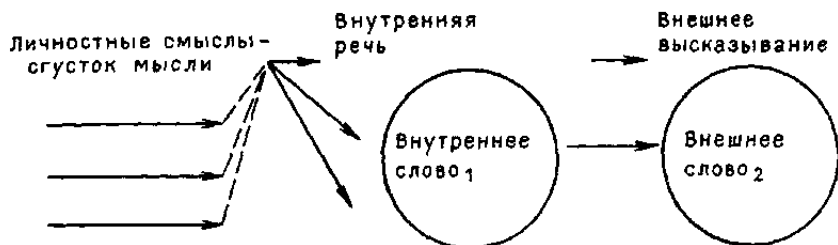


Схема 3

Схема 3 иллюстрирует два перехода к слову: от пучка смыслов к слову (синтез смыслов), от выбранного слова₁ — к системе его языковых значений, а от них — к слову₂, т. е. уже от пучка значений — к слову. Схема показывает также, что «смысл — шире значения» и одновременно, что «смысл — то, что входит в значение» (подчеркнуто мною. — Е. К.) [Выготский 1968, 193]. Представленная нами схема показывает, что можно извлечь из концепции Л. С. Выготского и как эта последняя может интерпретироваться с современной точки зрения. Думается, что это позволяет увидеть в новом свете не только сильные стороны его концепции, но вскрыть известные ее противоречия и пробелы [Залевская 1978, 33—34], а также оценить некоторые попытки ее развития. Интересно, однако, отметить, что не все стороны, или аспекты, теории Л. С. Выготского получили отражение в работах его последователей: так, например, не были соотнесены понятия внутреннего слова и личностных смыслов, не было оценено по достоинству глубокое замечание Выготского о том, что «для нас (теперь) основное — движение смыслов» [Выготский 1968, 189]. Думается, что нам удалось хотя бы отчасти конкретизировать и развить положения Выготского о тех фазах речемыслительного процесса, которые разворачиваются в направлениях, им самим указанных: «к опосредованию мысли во внутреннем слове, затем — в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [Выготский 1956, 381] или, в других терминах, от субъективных смыслов — к объективным (системно отработанным, языковым) значениям.

Хочется указать одновременно, что при трактовке теории Л. С. Выготского психологами особенно ясно проступали недочеты лингвистического характера, вследствие чего становится необходимым следовать более духу взглядов Выготского в целом, нежели его отдельным менее удачным или даже

противоречивым высказываниям. Это же можно отнести и к ряду положений А. Р. Лурия, у которого наряду с интереснейшими тонкими замечаниями о смысловой структуре слова и ее отдельных компонентах явно обнаруживаются несогласованные друг с другом определения.

Так, в одном месте своих лекций А. Р. Лурия говорит о переходе от «еще словесно не оформленного и понятного лишь самому субъекту смысла» [Лурия 1979, 53], из чего следует, будто смысл первоначально словесно не оформлен (т. е. можно предположить, что это — некая идея, смутный образ, не имеющие вербальной формы). В другом месте он, однако, определяет смысл как значение слова, но как бы не типовое, устоявшееся и т. д., а то, которое это слово имеет для данного говорящего, индивидуальное. Но тогда смысл словесно оформлен, он соотнесен, хотя и несколько необычным способом, с определенным словом. Свое мнение Лурия пытается разъяснить следующим рассуждением: «Взрослый культурный человек располагает обоими аспектами слова: и его значением, и его смыслом. Он твердо знает устоявшееся значение слова и вместе с тем может каждый раз выбирать нужную систему связей из данного значения в соответствии с данной ситуацией. Легко понять, что слово *веревка* для человека, который хочет упаковать покупку, имеет один смысл, а для человека, который попал в яму и хочет выбраться из нее, это средство к спасению» [там же, 54]. Но также легко понять, что разный смысл имеет не столько слово, сколько стоящая за ним вещь, т. е. веревка. Использовать слово *веревка* человек может только потому, что оно имеет (денотативное) значение «изделия из прядей пеньки для завязывания» и т. д. Какой бы личностный смысл человек ни вкладывал в это слово, базируется он все-таки на общепринятом значении слова; разрыв между личностным смыслом и значением не может быть чересчур большим. К тому же странно было бы, если б, обозначая предмет, человек обозначал его для себя каждый раз иным способом (другое дело, что именно для обозначения данного предмета у него может существовать «свой» терм, нуждающийся для непосвященного в «перевод»). Итак, в приведенном примере можно полагать как раз обратное тому, что доказывает А. Р. Лурия: сперва сформировался смысл — ‘то, чем надо завязать пакет’ или ‘то, с помощью чего можно выбраться из ямы’, затем он получил обозначение во внутренней речи с помощью слова, и, наконец, вся сеть ассоциации, скрытая за данным обозначением, должна была получить явное и эксплицитное объяснение в развернутом высказывании.

Преувеличивая подвижность сигнификативного аспекта слова и, напротив, недооценивая предметную его отнесенность, психологи часто оперировали категорией значения слова, отождествляя это последнее со значением объекта в деятельности человека, т. е. проводя знак равенства между значением слова и тем, чем является именуемый объект для говорящего в данной ситуации или же как объект его деятельности. С одной стороны, это играло, несомненно, положительную роль, потому что привело к обособлению и выделению такого нового для психологии понятия, как личностный смысл (смысл — это то, чем является данная вещь именно как вещь, как реальный объект деятельности для субъекта). С другой стороны, неразграничение свойств вещи и смысла слова, значения вещи как таковой и значения языкового, связанного с обозначением данной вещи данным словом, затемняло ход рассуждений указанных ученых и открывало дорогу к субъективному толкованию целого ряда мест их исследований.

С лингвистической точки зрения ясно, что уголь не перестает быть обозначением в русском языке определенного вида полезного ископаемого от того, что для одних говорящих он выступает как прямой объект трудовой деятельности, а для других — как средство отопления или даже как грязь в комнате. Ясно и то, что при необходимости выразить эти разные личностные смыслы говорящие прибегают к названию *уголь* именно потому, что такова общепринятая номинация рассматриваемого объекта и одинакова для всех говорящих предметная отнесенность данного слова. Говорящий волен выбирать разные обозначения для выражения своих личностных смыслов, но он не волен менять по своему усмотрению интенционал слова, он не волен изменить предметной отнесенности слова, и с лингвистической точки зрения пределы подвижности значений слова имеют вполне определенные ограничения. Преувеличивать эти пределы у лингвиста нет никаких оснований: он должен видеть разницу между значением и употреблением слова точно так же, как должен видеть различие между значением и обозначением. Однако для психолога все эти связи и корреляции предстают в ином свете: с точки зрения их поведения в деятельности мозга, интеллекта, психики. Разные ракурсы рассмотрения в целом, наверно, даже не бесполезны, но приводить к подмене одних понятий другими они все-таки не должны.

Оценивая модели порождения речи Выготского — Лурия с лингвистической точки зрения, мы, учитывая все вышесказанное, должны отметить в них самое главное: модели эти были ориентированы прежде всего на слово и на анализ его роли в речевой деятельности. При такой ориентации феноменом первостепенной важности оказывалась категория словесного значения, благодаря чему развиваемый ими подход не просто был связан с семантикой, — он знаменовал новый подход и к определению роли семантического компонента в речевой деятельности на отрезке перехода от смутного замысла речи к ее объективации в форме слова. В каком-то смысле речевое мышление уподобляется Выготским разертыванию значений и поискам номинаций для их адекватного обозначения, а эти идеи представляются нам весьма плодотворными и конструктивными. В конечном счете именно они обуславливают концепцию С. Д. Кацнельсона, усматривающего суть речевого производства в процессе образования новых смыслов [см. Кацнельсон 1972; 1984], концепцию личностных смыслов А. Н. Леонтьева (см. подробнее следующий параграф), концепцию, связывающую воедино процессы формирования и оформления смыслов в значения с процессами номинации ([Кубрякова 1979, 1984]). Поэтому, несмотря на действительно существующие противоречия в описании характеристик внутреннего слова, трактовка процессов понимания речи и ее производства с позиций идеи многократного перекодирования стала в последнее время весьма популярной и приобретает все большее количество сторонников.

Принципы разворачивания речи в процессе перехода от «субъективных смыслов» к «объективным значениям», а через их номинацию и во внешнюю речь развиваются и в настоящей работе, преломляясь здесь в виде особой программы перехода от «объективных значений» к их распределению по разным синтаксическим конструкциям и разным единицам номинации. Ключ к решению этой проблемы мы видим, следовательно, именно в распределении формирующихся смыслов и значений по единицам разных уровней, разной протяженности, т. е. в нахождении языковых форм для этих значений. Соответственно сама указанная проблема выступает для нас прежде всего

как ономаσιологическая и разрешимая с точки зрения теории номинации: даны некие значения, языковая система предоставляет в распоряжение говорящего систему средств их выражения. Проблема выбора этих средств — проблема семантическая, хотя она совершенно не укладывается более в узкую проблему выбора надлежащего слова.

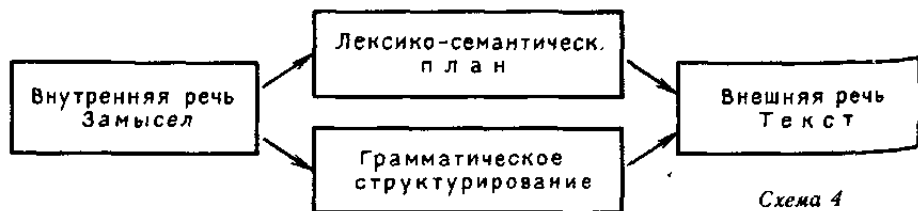
В свете сказанного становится, очевидно, понятным, почему поиск и выбор слова рассматриваются нами только как часть реализации семантической программы высказывания (см. также подробнее ниже).

Подводя итоги сказанному в отношении категории значения в психолингвистике, хочется отметить, что динамичны не столько сами отдельные значения, сколько процесс их комбинирования, т. е. динамичен процесс формирования новых смыслов. Динамична и та структура, в которую входят отдельные значения, т. е. семантическая структура слова. Сами же значения как неделимые далее семантические признаки вычленяются именно как фундамент и основа языковых значений уже как пучков признаков. С этой точки зрения поиск слова, относится к выбору формы для более или менее стандартного набора признаков, в связи с чем операция поиска превращается в огромном большинстве случаев в самое обычное и почти автоматическое речевое действие.

Чтобы больше не возвращаться к этим аспектам порождения речи, заметим, что процессы выбора и поиска слова всегда составляли часть моделей порождения речи, и, как правило, они-то и отождествлялись с семантическим планом программы. Так, например, комментируя составные компоненты модели порождения речи А. А. Леонтьева и отмечая, что перед нами те же фазы, что и у Выготского (семантический план и грамматическое структурирование), Ю. Б. Норман подчеркивает: «Семантический план есть, по сути дела, выбор слов, поэтому его правильной было бы именовать лексико-семантическим планом» (подчеркнуто мною.— Е. К.) [Норман 1978, 33].

По нашему глубокому убеждению, однако, семантический компонент в модели порождения речи не может быть отождествлен с простым выбором и поиском слова, в случае чего его можно было бы по праву рассматривать как номинативный аспект речепроизводства. Согласиться с такой трактовкой значило бы для нас интерпретировать не адекватно и процессы грамматического структурирования как «освобожденные» от действия семантики и, наконец, изображать в упрощенном виде и соотношение отдельных компонентов в порождении речи.

Подобное соотношение представлялось ранее схемой, в которой семантика противопоставлена грамматике¹ (см. схему 4).



¹ Так, например, у Г. В. Колшанского языкотворческий акт характеризуется как «выбор в сфере лексики и грамматики» по законам обратной связи [Колшанский 1981, 5—6].

Характеризуя эту схему, ее автор уточняет свою позицию, подчеркивая далее, что высказывание как коммуникативная единица начинается лишь там, где появляются первые признаки внешнеречевой структурой организации замысла, т. е. с того элемента высказывания, который содержит в себе в зародыше «всю фразу в целом», но такую роль, по мнению Б. Ю. Нормана, может выполнять только структурная схема предложения и даже уже — ее вершина в виде сказуемого. «Вершина схемы подчинено то или иное количество синтаксических позиций, подлежащих обязательному исполнению в речи, а выбор схемы служит сигналом к ее «ословливанью». Этот последний аспект и надлежит считать лексико-семантическим» [Норман 1978, 38 и сл.].

Сравнивая между собой две схемы порождения речи — схему Т. В. Рябовой [Рябова 1967, 88] и схему Б. Ю. Нормана, легко заметить, что они различаются порядком следования одних и тех же речевых операций. У Т. В. Рябовой схема строится на переходе от внутреннеречевой программы высказывания к выбору слов по значению, а от выбора слов — к грамматическому структурированию и т. д. У Б. Ю. Нормана, наоборот, выбор синтаксической схемы высказывания предшествует выбору слов. У того и другого, однако, семантика сводится к правилам «ословливания» будущего высказывания.

С современной точки зрения кажется более рациональным не столько противопоставлять грамматическое структурирование семантическому плану, сколько продемонстрировать содержательные основы всех этапов речевой деятельности. Иначе говоря, интуитивно представляется более убедительным рассматривать и выбор слова, и выбор синтаксической схемы высказывания (вне зависимости от того, какую из этих речевых операций мы будем считать опережающей другую) как следствие действия семантического компонента, как результат реализации содержательного замысла речи, или, как мы предпочитаем говорить, результат реализации смыслового задания акта речи. Но чтобы доказать правильность этой точки зрения, надо рассмотреть подробнее еще одно понятие, введенное Л. С. Выготским и его школой для характеристики формирования семантических основ будущего высказывания, — понятие личностных смыслов. Подведем предварительно некоторые итоги рассмотрения категории значения.

Итак, в психолингвистике проблема определения категории значения подчинена в значительной мере решению проблемы связи языка и мышления, проблеме генезиса языка и знака. Предлагаемая здесь трактовка значения является следствием анализа его поведения в актах речи и его роли в «динамической структуриации обозначений» [Slama — Cazacu 1957]. Другими словами, психолингвистика вносит свой вклад в «деятельностное» понимание значения, прежде всего — тех психических операций, которые стоят за использованием слова. Словесное значение, оказываясь в фокусе внимания психолингвистов, хотя и понятое как значение сложно структурированное, не получает здесь, конечно, того всестороннего и глубокого анализа, которым отмечен подход к лексическому и грамматическому значению слова и к его знаковой сущности в современной лингвистике [ср. Уфимцева 1977; 1980, 1984]. Вместе с тем определяемое с психологической точки зрения понятие словесного значения помогает обогатить представление о значении слова описанием его особенностей в процессе речевой деятельности. Эта концепция направляет внимание исследователя на тот факт, что «в значе-

нии языкового знака фиксируется не любое знание, а только то, которое получено в определенной познавательной деятельности» [Тарасов 1979, 78]. Развивая логически эту мысль, можно было бы сказать, что и в порождении речи значение языкового знака таково, что позволяет выбрать из него, как фиксирующего определенное значение, тот квант этого знания, который нужен в момент речи говорящему и на который (на описание которого) направлена в это время познавательная или другая деятельность человека.

Поскольку такая деятельность никогда не прекращается, семантическая структура слова, поворачиваясь то одной, то другой стороной в актах речи, сама оказывается не жесткой, раз и навсегда заданной системой. Динамична структура значения, поскольку в совокупности составляющих его денотативных, сигнификативных и ассоциативных характеристик все время «высвечиваются» и используются разные компоненты; динамична и вся семантическая структура слова, ибо по мере употребления из этой структуры используются необходимые наборы значений.

«Было бы величайшей ошибкой считать, что слова имеют неизменное, всегда одинаковое значение», — подчеркивает, ярко выражая указанную точку зрения, А. Р. Лурия [1979, 223]. Но с лингвистической точки зрения верно и другое: значение «образует как бы разрешенный круг случаев, внутри которого операции субъекта при всех индивидуальных их различиях соответствуют данному значению» [Нарский 1963, 15]. С выходом за пределы данного круга значений человеку грозит опасность непонимания, поэтому язык как бы накладывает свои ограничения на использование слова и ставит свои собственные барьеры. Возможности динамического использования значений противостоит система отработанных значений, закрепляемых за отдельным словом, в значительной мере регламентирующая диапазон допустимой подвижности знаков. Это диалектическое противоречие актуального и виртуального, речевого и системного, контекстно обусловленного и контекстно независимого значения слова (ср. указанные выше работы А. А. Уфимцевой) в психолингвистике рассматривается в терминах противопоставления категории значения личностным смыслам говорящего. Рассмотрим эту категорию.

3. ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И ОСВЕЩЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Противопоставление значения и смысла, имеющее в лингвистике свою собственную историю, в психолингвистике понимается тоже не всегда одинаково. Тем не менее здесь можно проследить общие тенденции, связанные как с определением личностных смыслов говорящего, так и, главное, с признанием их определяющей роли в формировании речи, и в настоящей книге мы стремимся продолжить и развить именно эту традицию. Как совершенно правильно подчеркнул В. А. Звегинцев [Звегинцев 1973, 165], когда говорят о деятельности общения посредством языка, здесь обязательно приходится учитывать человеческий фактор, а, следовательно, проблема

смысловой стороны языка встает во весь рост: если речевая деятельность направлена на передачу информации, центральное место в изучении общения приобретает вопрос о том, что кодируется средствами языка и что, напротив, извлекается далее из речевого сообщения. Природа и сущность передаваемого содержания — это вопрос и об истоках (исходном) в речевой деятельности, и о ее результатах, это вопрос о том, что такое обмен мыслями.

Пионерские работы А. А. Леонтьева положили начало циклу исследований, искомым которых был ответ на поставленный выше вопрос. Смысловую природу, по его мнению, имеет прежде всего стадия программирования речевого действия, этап плана речи [Леонтьев А. А. 1969б, 221], и именно для характеристики этого этапа им вводится понятие смысла, унаследованное от школы А. Н. Леонтьева. Предполагается, что порождение речи имеет определенную последовательность, начинающуюся программированием грамматико-семантической стороны высказывания и предвещающую грамматическую реализацию высказывания и выбор слов [там же, 265]. Внутреннее программирование не совпадает с внутренней речью и имеет другую функциональную направленность: организовать линейную схему будущего высказывания и его основной костяк. Формальной стороной программы, по А. А. Леонтьеву, является любой код образов, схем, представлений и т. д., содержательной — их смысл, т. е. в единицах кода закреплены не значения, а их аналоги в системе деятельности, какими являются личностные смыслы говорящего [там же, 266—267]. Если отбросить неудачное в данной ситуации противопоставление формального и содержательного, можно сказать проще: у образующихся в голове человека представлений и образов как предвестников мысли и ее субстрата есть собственное содержание. Его-то и рационально описывать не с помощью категории языкового значения (ведь языковых-то единиц здесь еще нет!), а с помощью коррелятивного ей индивидуального значения данного образа, представления и т. д. — с помощью смысла.

Мысль формируется из этих смыслов, она как бы кристаллизуется в процессе столкновения образов и схем, смутных представлений, в поисках связи и отношений между ними, в выборе из всех возникающих ассоциаций наиболее важной для данной ситуации. Такое вольное «прочтение» идей психологов представляется нам достаточно убедительным, хотя оно и требует целого ряда уточнений и разъяснений.

Во-первых, отличительной стороной концепции А. А. Леонтьева является то, что как категория значения, так и категория смысла рассматриваются отнюдь не как собственно языковые. «Круг представлений данного общества, наука, язык, — пишет в этой связи А. Н. Леонтьев, помещая указанные понятия в один ряд, — существуют как системы соответствующих значений»; значение только обычно, но отнюдь не всегда и не обязательно фиксируется в слове или словосочетании, зато «в форме языкового значения оно составляет содержание общественного сознания» [Леонтьев А. Н. 1965, 288]. Таким образом, значение как таковое может быть выражено в разных формах и явлениях, и языковое значение может быть выделено как особый тип значения вообще по специальной форме его передачи [Леонтьев А. А. 1983, 11].

В отличие от значения «смысл создается отражающимся в голове человека объективным отношением того, что побуждает его действовать,

к тому, на что его действие направлено как на свой непосредственный результат» [Леонтьев А. Н. 1965, 299]. Смысл — «это отражение фрагмента действительности в сознании через призму того места, которое этот фрагмент действительности занимает в деятельности субъекта» [Леонтьев А. А. 1965б, 162].

Во-вторых, значения и смыслы рассматриваются как содержание, освобожденное от своей вещественности и имеющее новую форму бытия в голове человека — идеальную, образы сознания — сознательные, осознанные образы предметов. Предметный мир здесь присвоен субъектом в форме сознательного отражения, т. е. он осмыслен, а потому значим, имеет значение (обобщенное для данного коллектива говорящих и потому — социальное) и смысл (личный, индивидуальный, полученный через преломление значения в деятельности говорящего). Человек оперирует смыслами именно как идеальными объектами, причем понятие смысла в принципе как бы шире понятия значения, ибо к общему для данного социума идеальному значению добавляется его осмысление самим человеком как индивидуумом. К тому же смыслы выступают в порождении речи как стороны знаков разного субстрата, знаков с разными «телами», т. е. в виде разных по происхождению и принадлежности к разным кодовым и знаковым системам (слуховой, зрительной, сенсомоторной, речедвигательной и т. д.) явлений. По А. Н. Леонтьеву, они могут быть по своему субстрату либо биологическими, либо личностными. В любом из этих случаев имеется в виду то, чем является тот или иной объект в деятельности человека; чем определяется содержание объекта как отраженного не только в голове человека, но и прошедшего через его действия с объектом.

Если для Л. С. Выготского, как мы уже указывали выше, значение — это единица и языка и мышления, единица речевого мышления, для А. Н. Леонтьева — это прежде всего единица сознания; сублимированная, оторванная в конечном счете от породившего ее субстрата и потому существующая в мозгу независимо от формы ее выражения. Значение, указывает А. Н. Леонтьев, это ставшее достоянием моего сознания.. обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия, значения или даже в форме умения как обобщенного «образа действия», формы поведения и т. п. [Леонтьев А. Н. 1972, 290]. Такие единицы сознания образуют пространство значений, не менее важное для восприятия предметного мира, чем координаты пространства и времени, обуславливающие это восприятие. Исходя из этих положений некоторые ученые считают, что образующими сознание оказываются, с одной стороны, такие идеальные сущности, как значения, а с другой, личностные смыслы, ибо двойственная природа значения такова, что оно выступает одновременно и как единица общественного сознания (фиксирующая общечеловеческие знания и опыт), и как образующая индивидуального сознания (уже в виде личностного смысла, т. е. значения, преломленного чрез индивидуальный опыт данного человека) [ср. Петренко 1983, 9 и сл.].

Значение входит, таким образом, в психический образ объекта, который сам по себе интегрирует визуальные, тактильные, слуховые, вкусовые и прочие, в том числе и вербальные характеристики объекта, полученные в ходе знакомства с объектом и опыта обращения с ним, а также в процессе отражения и осмысления этого опыта. Нам представляется, что уже это

помогает понять, почему одного из этих признаков предмета (в том числе — и вербального!) во внутреннем коде человека бывает достаточным, чтобы вызвать представление о всем предмете в целом. Иначе говоря, не только номинация предмета способна вызвать ассоциации, с данным предметом связанные, но и представление о нем, возбужденное каким-либо слуховым, зрительным или тактильным воспоминанием; верно и обратное: предмет, активизированный в сознании по какому-либо одному признаку, находит свой ярлык в коде вербальном. В основу мысли может лечь знак любого кода. Субститутом предмета может быть знак, "тело" которого имеет разную природу: чаще всего, наверно, зрительную и вербальную.

Интересно, что в серии исследований Пайвио [Paivio 1971] была предпринята попытка проверить в эксперименте, что может стоять за значением слова в сознании человека и в какой «модальности», в каком виде люди представляют себе содержание слов. Для многих слов коэффициенты образности (возможности представить содержание слова в виде образа) оказались весьма высокими, из чего был сделан вывод о том, что соответствующее содержание хранится в памяти как в форме образа, так и в виде определенного кода. Но нам кажется существенным как раз то, что даже наличие слова и его знание не исключают возможности передать его содержание не вербальным путем, а образно, т. е. принципиально даже словесный знак не обязательно истолковывается через другой словесный знак, а репрезентируется образом (на языке невербального кода).

Понимание значения как любой формы обобщения действительности, т. е. существующей и на базе перцептивного образа, и на базе языка и т. д. [Леонтьев А. А. 1983, 11], возможно, и плодотворное само по себе, требует, однако, непрямого разграничения и различения языковых и неязыковых значений, и мы в настоящей работе имеем всюду в виду (если это специально не оговорено, как в настоящем разделе) именно языковые значения, да и о семантике говорим исключительно как науке о языковом значении [иное толкование см. Петренко 1983, 17 и сл.]. Более того: используя понятие личностного смысла, мы как раз имеем в виду прежде всего содержание образов, представлений, Gestalt'ов, формирующихся в голове человека или же наличествующих в ней, но репрезентируемых либо полностью на невербальном коде, либо в смещении невербального с вербальным. Однако, как только такое смещение наступило, личностные смыслы могут считаться переступившими чистый язык мозга и попавшими в царство, именуемое внутренней речью. Подвижный характер личностных смыслов заключается в легкости перехода с одного кода на другой, в легкости организации сплава содержания из разного класса знаков, во взаимодополнительности образов объектов как таковых и образов слов, описывающих эти объекты.

Как правильно указывает Е. Ф. Тарасов, «достоинство концепции смысла А. Н. Леонтьева по сравнению с иными психологическими концепциями смысла заключается в том, что смысл рассматривается не как сформировавшийся феномен сознания, а, напротив, как отражение человеческим сознанием формирующегося отношения предмета к деятельности человека .. Эта концепция смысла показывает механизм возникновения так называемых ситуативных контекстных значений слова» [Тарасов 1979, 84].

В терминах современной лингвистики можно также утверждать, что эта концепция наталкивает мысль исследователя на необходимость изучения

прагматических факторов как оказывающих свое влияние на складывание личностных смыслов и их конкретный облик. В еще более широком контексте можно рассматривать эту концепцию, как и всю теорию Л. С. Выготского — А. Р. Лурия, как наталкивающую на необходимость признать наличие в речевой организации человека особых механизмов, ответственных за стратегии воплощения смыслов и их перекодировки в речь, с одной стороны, и за стратегии извлечения смысла из текста, с другой, на что указывает, например, А. А. Залевская [Залевская 1978, 9].

Концепция смысла послужила основанием выделить в схеме порождения речи еще одно звено, относящееся к переходу от смысла к речи и уточнившее прежнюю формулу "от мысли — к слову": внутреннее программирование. Такое представление порождения речи имеет как свои положительные, так и свои отрицательные стороны.

Выделив в системной организации человеческого сознания такие образующие этой системы, как значение, личностный смысл и чувственную ткань — их носителя [см. Леонтьев А. Н. 1975], определив каждую из этих составляющих, А. Н. Леонтьев оставляет не вполне ясным вопрос о соотношении значения и личностного смысла в голове человека. Сосуществуют ли эти категории рядом друг с другом или же личностный смысл и есть та форма, в которой значение общепринятое существует для данного человека? Если личностный смысл — это как бы «значение значения» для человека [Петренко 1983, 10], и в этом отношении связь между ними может быть обозначена как иерархическая, резонно можно поставить вопрос о том, в каком случае эти понятия выступают как разные и в чем именно сказывается их нетождественность? Да и можно ли вообще противопоставить эти понятия в формировании мысли, сказав, что в одном случае мысль человека складывалась на основе значения, а в другом — на основе смысла? Если оснований для такого противопоставления нет, можно было бы довольствоваться одним понятием — индивидуального значения или системы индивидуальных концептов, которыми, мысля, человек и оперирует¹.

Как пишет А. А. Леонтьев, «значение слишком "объективно" для того, чтобы быть использованным в программировании, оно никакими узлами не связано со структурой деятельности и просто включается в нее, не претерпевая при этом существенного преобразования. А программа по своему психологическому статусу... не может не входить в систему деятельности и не находится с другими компонентами этой системы в отношениях взаимодействия и взаимозависимости» [Леонтьев А. А. 1969б, 161]. Во внутреннем программировании используются поэтому не значения, а личностные смыслы. Но ведь в психолингвистике в категории значения подчеркивается именно его динамическое начало, его гибкость и подвижность, способность видоизменяться в зависимости от условий общения, а следовательно, и от структуры деятельности. При оппозиции значения смыслу эта сторона значения как бы перечеркивается, т. е. понятие значения оказывается приближенным к понятию системного, устоявшегося, общепринятого

4 ¹ Именно как индивидуальное значение, притом индивидуальное значение слова, определял смысл и А. Р. Лурия [Лурия 1979, 53]. Интересная и близкая нам концепция смыслов как составных частей концептуальной системы человека и тех наименьших содержательных единиц, из которых затем складывается и словарное значение слова, и значение языковых выражений, развивается в работах Павлениса. См., например [Павленис 1983, 100 и сл.].

и константного содержания; напротив, понятие смысла оказывается отражающим «пристрастность» человека, его индивидуальность и личностные особенности.

Может быть, целесообразно поэтому оставить категорию значения для наименования концептов, отработанных данным обществом и составляющих для этого общества сферу разделенного знания и опыта. Категория же личностного смысла может быть тогда определена через преломление системных значений в голове индивидуума, ибо не может быть в мозгу человека ничего, что не подверглось бы здесь определенной оценке или выработке определенного отношения к данному значению. В голове человека в таком случае нет значений и личностных смыслов, а есть личностные смыслы, более или менее совпадающие с общепринятыми значениями или, напротив, более или менее от них отклоняющиеся. Мысль человека может быть с этой точки зрения описана как процесс активизации некоторых личностных смыслов и их интеграции в новое целое (например, Gestalt) или даже новую цепочку таких единств.

Другой важной для нас особенностью является тот факт, что если программирование речи связано с личностными смыслами, оно может разворачиваться во внешнюю речь, минуя внутреннюю [Леонтьев А. А. 1969б, 158]. Хотя этим положением достигается существенный отход от концепции Выготского, поскольку этап внутренней речи для речевой деятельности становится не обязательным и поскольку рождение мысли не связывается здесь изначально с кодом вербальным, мы считаем необходимым поддерживать его. Здесь А. А. Леонтьев явно ближе позиции Н. И. Жинкина с его идеями универсального предметно-изобразительного кода [Жинкин 1982, особ. 16 и сл.]. Хотя самим А. А. Леонтьевым понятие внутреннего плана используется прежде всего для объяснения того, как строится будущее высказывание (и какие компоненты грамматического структурирования здесь зарождаются), нам оно кажется заслуживающим самого серьезного внимания по другой причине.

Ведь по существу здесь предлагается такой вариант перекодировки символов невербальных систем в символы вербальные, при котором протягивается ниточка от смутных образов, представлений, ощущений и их ассоциативного сближения непосредственно к слову. Но именно такое непосредственное соединение невербального с вербальным в момент реального речеобразования и кажется нам наиболее естественным для объяснения спонтанной речи. В варианте порождения речи, предложенном Выготским, постулируются три фазы, что можно изобразить схематически: превербальная→вербальная во внутренней речи→вербальная во внешней речи. Но в рассматриваемом нами варианте А. А. Леонтьева таких фаз по существу две: внутреннее программирование речи на невербальном коде→внешняя речь.

Итак, если в концепции Выготского — Лурия и их последователей в переходе от мысли к слову постулируется в качестве промежуточного звена уже ословненное, уже вербальное (внутренняя речь), хотя и интериоризованное, от Н. И. Жинкина и А. А. Леонтьева тянется иное представление того же процесса, выпускающее это внутренне-вербальное звено и заменяющее его внутренне-невербальным или даже перескакивающее через него (подробное описание УПК Н. И. Жинкина см. [Горелов 1974, 66—67, 75 и сл.]).

Можно было бы сказать и по-иному: на этапе внутреннего программирования возможно обращение к коду вербальному, возможен выбор будущего субъекта, объекта и т. п. в вербальной форме (и тогда это — внутренняя речь), но вероятны и другие стратегии говорящего, когда он использует для построения плана речи образные схемы и невербальные представления (субституты вербальных знаков).

Думается, что обе гипотезы не взаимоисключающи и потому отражают объективное положение дел: возможную нетождественность предречевых состояний говорящего, различие «мостиков» между неречью и речью. Простая истина, что человек может заговорить «с ходу», или, наоборот, подумав, получает в таком случае свое научное объяснение с помощью принципа эквивалентности. То, что выгладит эквивалентным (экви-) по своему результату (финалу), может быть достигнуто разным путем и в ходе осуществления нетождественных процессов [Кубрякова 1981, 24—25]. Как когда-то очень хорошо сказал А. А. Леонтьев, «вообще нет никаких свидетельств в пользу того, что одно и то же (лингвистически) речевое высказывание должно быть порождено обязательно одним и тем же (психолингвистическим) способом» [Леонтьев А. А. 1969 а, 150]. Механизмы речи достаточно действенны для того, чтобы обеспечить прямое включение мыслительного процесса в речь: человек может «готовить» свою речь заранее, но может говорить и думать одновременно.

В свете сказанного хочется подчеркнуть еще раз новаторский характер работ Н. И. Жинкина, в частности его работу 1964 г., в которой ставится и решается вопрос о том, «реализуется ли мышление только в речедвигательном коде или существует другой код, не связанный непосредственно с формами натурального языка» [Жинкин 1964, 26; 1967 и др.]. Такой код ученый называет по-разному: универсальным предметным кодом, кодом схем и образов, предметно-изобразительным, предметно-схемным, и доказательства его существования, полученные экспериментальным путем и подтверждаемые новыми исследованиями полушарных различий, чрезвычайно важны для разрешения спора о вербальности/невербальности мышления. «Переводимость всякого языка на всякий другой язык, — указывает Н. И. Жинкин, — есть фундаментальное свойство всякого языка» [Жинкин 1982, 19]. Семиотическое преобразование одних сигналов в другие может иметь разные формы, а значит, быть, в частности, преобразованием разного рода сенсорных сигналов в вербальные.

Существенно, однако, сделать и следующий логический шаг в изображении схемы порождения речи и задуматься над тем, так ли обязательно и само программирование высказывания на этапах предречи, т. е. его обдумывание хотя и не на вербальном коде, но все-таки предварительное и опережающее речь построение ее плана. Существование такого этапа у последователей А. А. Леонтьева, по-видимому, не только не вызывает никаких сомнений, но и считается полностью доказанным. Он сам утверждает категорически, что «цикл работ А. Р. Лурия, Л. С. Цветковой и Т. В. Рябовой дает полное основание говорить о реальности существования звена "внутренней программы", или "внутренней схемы", речевого действия, занимающего в общем механизме порождения речи какое-то из первых (в смысле последовательности) мест и необходимого для правильного порождения» [Леонтьев А. А. 1969б, 113].

Но вернемся к наблюдениям А. Р. Лурия и его коллег. Они указывают,

что больные с явлениями динамической афазии проявляют резкие нарушения в самостоятельном высказывании; они отмечают, что отдельные слова (элементы высказывания) в беспорядке появляются у них, но схемы целого высказывания (линейной схемы фразы) у них не возникает. Стоит, однако, вынести наружу эту линейную схему фразы, положив перед больным ряд опорных меток (например, пуговиц, бумажек), соответствующих числу входящих в высказывание элементов, чтобы больной, последовательно указывающий пальцем на эти метки, мог дать целое высказывание (например: *Я — хочу — гулять*). Устранение этой внешней линейной схемы фразы снова делает высказывание невозможным [Лурия, Цветкова 1966, 2]. На наш взгляд, эти данные свидетельствуют о том, что для осуществления нормальной речи у говорящего должен иметься механизм синтаксической линеаризации: определения числа и последовательности известных синтаксических позиций для единиц номинации с установленными структурно-семантическими свойствами. Такой механизм приведения в соответствие выбранной единицы номинации с занимаемой ею синтаксической позицией обязателен, и в указанных случаях он, несомненно, нарушен, но почему он должен срабатывать именно на стадии предречи, а не может характеризовать непосредственное развертывание речи? Что именно доказывает внутренний, интериоризованный в норме способ бытия этого механизма? Не очевидна ли здесь патология в организации самой мысли, поскольку предметы мысли выделены (и поименованы), но отношения между ними не определены (и потому не поименованы так, как только и могут быть охарактеризованы отношения, — через синтаксис)?

Иногда утверждают, что «высокая скорость мыслительных операций, производимых человеческим мозгом, создает упрощенное представление о мгновенном, точечном характере порождения текста» [Норман 1978, 23], и в принципе это, наверно, именно так. Но не упрощаем ли мы истинного положения дел, настаивая на том, что всякой речи предшествуют одни и те же этапы, в частности, и опережающее ее чуть ли не сознательное решение относительно схемы будущего высказывания? Не упрощаем ли мы протекание речевой деятельности и тогда, когда изображаем ее как следующую жестким и заданным заранее канонам?

Если правильно, что проведение речевого акта в каждой отдельной ситуации имеет как свои типовые, так и свои индивидуальные черты, и если, как мы постарались показать ниже, существует несколько способов организации и зачина речи, некоторые модели порождения речи могут быть поняты лишь как отражающие один из возможных путей перехода от мысли к речи. С другой стороны, критика существующих моделей позволяет уяснить конструктивные принципы, на которых может быть построена более общая схема порождения речи. С этой точки зрения анализ сложившихся к настоящему времени моделей приобретает самостоятельную методологическую значимость. По-видимому, единая схема порождения речи существует лишь условно; фактически приходится говорить о разных моделях порождения речи для разных типов речи. На этой основе мы и выдвигаем положение о том, что схема порождения речи должна быть эквивалентной, т. е. учитывающей главное свойство речевой деятельности: ее гибкость, способность оптимальным образом согласовывать механизмы речи с типом речи и обслуживать разные типы речи, выделяемые на шкале от почти полного автоматизма навыков (в том типе речи, который мы опишем ниже

под названием «клишированного», или «стереотипного», и который сам составляет разновидность спонтанной речи) до обдумывания организации дискурса во всех его деталях и подробностях (в письменной речи или при подготовке к публичному выступлению).

С этой точки зрения к положению об обязательном плане речи, программировании и т. п. можно относиться лишь с известной долей скептицизма. В речи, организуемой по принципу «вижу и говорю», не остается физически никакого времени на предварительное обдумывание, речь носит характер стимула — реакции.

Но положение о программировании, предвосхищении высказывания разделяется не только советскими учеными. «... У нас есть очень отчетливое предвосхищение того, что мы собираемся сказать, — утверждают, например, американские психолингвисты, — и наш выбор нужных слов зависит от чего-то гораздо большего, чем предшествующие элементы нашего высказывания. У нас есть план предложения, и, когда мы формулируем его, мы имеем относительно ясное представление о том, что мы собираемся сказать.. план предложения, по-видимому, должен в общем определиться до того, как можно выделить слова, которые мы собираемся высказать» [Миллер, Галантер, Прибрам 1956, 156]. Перед нами убедительное описание зарождения речи, но только — в одном из возможных случаев проведения речи: при наличии времени на ее предварительное обдумывание. К тому же пока совершенно неясно, в каком виде планируется схема высказывания, т. е. на языке какого кода она (пусть и неосознанно) формулируется. Скорее здесь действует механизм развертки речи по аналогии, по устоявшимся и привычным образцам, выбираемым нередко после «разгона», данного номинацией топика (ср. *Петя, он так и не приходил; Петя, а разве он был вчера на работе; Петя, пусть он подойдет ко мне* и т. д.).

Итак, интуитивно кажется, что планируем мы далеко не каждое высказывание. Да и «ясное представление о том, что мы собираемся сказать», предшествует отнюдь не каждому акту речи. Фактически большое число речевых актов протекают непреднамеренно: как потому, что высказывание оказывается мгновенной реакцией на какое-либо неожиданное событие, так и потому, что мы не считаем обязательным обдумывать заранее все свои речевые поступки; общаясь с другим человеком, мы часто не можем предсказать заранее, как повернется разговор и на что мы будем вынуждены немедленно реагировать и ответить.

Не следует также смешивать тему (топик) предполагаемой или начинающейся речи, о которой как о предмете речи мы знаем заранее, с тем, какое языковое воплощение она приобретет в высказывании. На наш взгляд, вообще высказывание скорее складывается, нежели «программируется», развертывается постепенно, нежели планируется заранее и т. д.

Невозможно и другое: если признать реальность плана будущего высказывания хотя бы для какого-либо одного типа речи (а с этим мы вполне согласны), из этого все же не следует, что планирование равносильно грамматическому и тем более — уже — синтаксическому структурированию, которое подчиняет себе далее уровень моторных механизмов речи (озвучивание). Хотя мы занимаемся исключительно грамматической и номинативной сторонами речевой деятельности, их противопоставление кажется нам не только нецелесообразным, но и не соответствующим обычному ходу речевой деятельности. Подкрепленные многократно ассоциации формы и содержания

делают возможным рассмотрение предложения как сцепления ассоциаций, однако не простого, «словного» типа, а более сложного сцепления определенных классов ассоциаций [ср. Леонтьев 1969б, 45 и сл.].*

Но и признав внутреннее программирование, мы не можем избежать в конечном счете кардинального для всей теории речевой деятельности вопроса о том, а что же стоит за программированием и что вообще приводит в движение пусковые механизмы речи. Думается, что ответ на этот вопрос может быть только один: замысел говорящего и конкретный смысл его сообщения или другого высказывания [ср. Osgood 1963, 736].

В модели А. А. Леонтьева и его коллег, носящей довольно детальный характер [Леонтьев, Рябова 1970], а также в принципиально близкой ей модели А. Р. Лурия, подготовительные этапы речи всегда связываются как с формированием мотива высказывания (потребности сказать о чем-то), так и возникновением непосредственного замысла речи. Иначе говоря, здесь учитываются факторы, вызывающие речь и лежащие обычно за пределами собственно речевой деятельности, а также явления, относящиеся непосредственно к формированию конкретного содержания высказывания. Для более расчлененного описания последнего и вводятся понятия внутреннего программирования и даже плана праобраза будущего высказывания в виде своеобразных коррелятов субъектно-предикатных и объектных отношений. Мы полагаем, однако, что замысел — «это самый общий нерасчлененный смысл высказывания» [Зимняя 1978, 74] и что расчленение этого смысла (выделение личностных смыслов и формирование «внутреннего слова») происходит примерно так, как это описал Л. С. Выготский и как мы осветили этот процесс в более подробном виде в одном из предыдущих параграфов. Здесь же необходимо сказать несколько слов не столько о смысле и его оформлении, сколько о роли замысла и установок говорящего в момент речи. Для нас замысел — это пусковой механизм речи, совмещающий интенцию говорящего с его установкой. В порождающей грамматике совмещение указанных функций (начать говорить, зная, для чего и с какой целью ты хочешь осуществить речевой акт) признавалось теми, кто считал предшествующим каждому реальному высказыванию некий реально или идеально присутствующий в нем перформатив (о типах перформативов и их таксономике см. [Арутюнова 1976, 46 и сл.]).

Предложение типа *Мыши едят сыр* должно быть рассмотрено с указанной точки зрения как ассертивное высказывание *Я утверждаю, что мыши едят сыр* (или: *Я считаю истинным, что*). И хотя ряд исследователей с этим мнением А. Росса [Ross 1970; Fodor Janet 1980, 53 и сл.] и не соглашался, мысли об интенциональных характеристиках речевого акта как его неотъемлемом свойстве были поддержаны не только в пределах теории речевых актов.

По мысли Лакова, у каждого высказывания есть свой глубинный предикат, относящийся ко всему высказыванию в целом и иногда находящийся, а иногда — нет свое выражение в поверхностной структуре. Соответственно, исходная структура имеет вид предложения, заключенного в перформативную рамку, ибо логическая форма всякого предложения предполагает также определенное отношение говорящего к тому, что высказывается. Из этого следует также, что самый высокий предикат в структуре синтаксического дерева носит перформативный характер и по своему значению свидетельствует о том, побуждает ли говорящий к действию или произносит

вопрос, приказ или угрозу. Он соотносится с целью речевого акта [Lakoff 1971, 232 и сл.]. Таким образом, переход от неречевого к речевому обуславливается не только общим содержанием будущего высказывания, но и установкой говорящего относительно резона его произнесения. Поскольку все это рождается в голове человека одновременно, можно говорить о речевом акте не только как об акте мыслительном, интеллектуальном, но и акте волеизъявления, акте эмоциональном, интенционально направленном, равно выражающем мысль, чувства, оценку и цели говорящего.

Ясно также, что поскольку подобные чувства могут быть самыми нейтральными, в обычном разговоре, беседе «на ровной ноте» перформатив как особый глагол может и не появляться. Как замечает Н. Д. Арутюнова, в отличие от таких речевых актов, содержанием которых является угроза, обещание, приказ и т. п., «суждение, создаваемое отношением утверждения, допускает отвлечение от прагматического фактора» [Арутюнова 1976, 38]. Вот почему перформатив иногда подразумевается, но не появляется в виде реального глагола, предваряющего высказывание [ср. Голод, Шахнарович 1981, 242]; тональность предложения, однако, как и его функциональная установка, говорящим определены.

С этой точки зрения первое, что происходит на довербальном уровне, предшествуя непосредственно речевому высказыванию, — это, по-видимому, формирование установки на то, чтобы заговорить и сказать что-то, и одновременно осознание того, для чего это нужно. Можно утверждать, соответственно, что замысел речи относится, строго говоря, не только к первому высказыванию, открывающему речевой акт, но скорее к речевому акту в целом [Жинкин 1956, 142]. Уже этот этап речи содержателен сам по себе и так же явно связан с содержанием будущего речевого акта. Если наши доводы правильны, из этого следует весьма важное положение о том, что семантика должна быть включена в схемы или модели порождения речи не только на этапах непосредственного речеобразования (выбор слова), но и на этапах, отодвигаемых в самую глубь формации замысла речи, т. е. с того момента, с которого мы и можем говорить о пусковых механизмах речевой деятельности, — с самого начала.

Но в существующих моделях семантика описывается либо как выполняющая иные роли (ср. генеративную грамматику, описание которой будет дано в следующем параграфе), либо как вступающая в действие на более поздних и более ограниченных по их задачам этапах порождения речи. Так, например, для всех тех последователей Л. С. Выготского, которые признавали предшествование внутренней речи и внутреннего слова слову внешнему, семантика начиналась с внутренней речи и даже со значения внутреннего слова. Такая позиция молчаливо предполагала, что семантика имеет свои языковые корни в слове и что семантические проблемы определяются исключительно процедурами выбора и поиска слов (так, собственно, и в модели порождения речи Б. Ю. Нормана и ряда других исследователей, о которой мы уже писали выше). Интересно, что даже те исследователи, которые вслед за А. А. Леонтьевым выделяли на этапах предречи стадию формирования мотива высказывания и т. д. и на деле связывали зарождение речи с содержательными ее характеристиками, не утверждали детерминирующей роли семантики для всего процесса в целом; напротив, противопоставление семантики грамматическому структурированию проводилось всеми без исключения. Однако, если считать, что «мотив это то, что объясняет

характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слушающего» [Зимняя 1978, 71], то, будучи последовательным, надо поставить вопрос о действии семантики уже на этих этапах.

В дальнейшем изложении мы и пытаемся развить и обосновать этот тезис, полагая, что при активизации сознания семантика диктует свои законы и здесь, хотя и в самом абстрактном качестве. Знание языка сказывается в решении говорящего относительно выбираемого им типа предложения, т. е. той языковой формы, которая оптимальным и адекватным образом отразит главную цель его высказывания; последнее, соответственно, будет построено как просьба или указание, сообщение или вопрос, суждение или восклицание. Возможно также, что здесь же решается вопрос и о перформативно-модальной рамке высказывания (*возможно, что...*; *вероятно, но...*; *я не хотел говорить, но...*). Семантика здесь — компонент пускового механизма речи, способствующий принятию (иногда неосознанного и неосознаваемого) решения о прагматических установках речи и соответствующей ей форме высказывания.

Моделей, учитывающих все эти факторы, пока еще нет, но с развитием теории речевых актов контуры таких моделей намечаются вполне отчетливо. Интересно, что некоторые акты речи, замышляемые для себя, носят ярко выраженный прагматический характер, ср. регулятивные акты, управляющие собственным поведением, инструкции самому себе, вербальное перечисление действий и порядка их проведения, акты «успокоительного» характера и т. д.

Существующие в специальной литературе психолингвистические модели отражают тот период в истории лингвистики, когда семантика трактовалась в значительной мере как лексическая, т. е. связанная с категорией значения в слове. Естественно, что семантика в порождении речи, описанная с этих позиций, выглядит сегодня как неадекватная своему объекту. Характеризуя отечественные модели порождения речи, В. И. Голод и А. М. Шахнарович справедливо указывают на то, что здесь «не выделяют семантику в качестве самостоятельного элемента или составляющей наравне с другими в процессах речемыслительной деятельности» [Голод, Шахнарович 1981, 238 и сл.]. Они сами выступают застрельщиками такой модели, в которой семантике отводится надлежащее место. Но дело как раз заключается в том, что семантика вводилась, но под другими именами и наравне с другими составляющими; она как бы всплывала от случая к случаю, непоследовательно, по мере описания достаточно частных моментов порождения речи.

Если же признать, что семантика «работает» на всех этапах порождения речи, выполняя на каждом свою специфическую функцию и реализуя все время некую семантическую подпрограмму, — а именно эту точку зрения защищают В. И. Голод и А. М. Шахнарович, — относительно семантики надо поставить новую задачу: задачу определения всего диапазона ее действия и масштабов этой деятельности. Ни одно направление современной лингвистики этой задачи еще не решило. Представления о полном объеме действия семантического компонента на всем протяжении порождения речи — при ее подготовке и реализации — пока не существует. Тем не менее мы рискуем ставить в нашей книге именно эту задачу, полагая, что ее ответ может быть частично получен при обобщении тех сведений, кото-

рые могут быть извлечены из существующих моделей при анализе обязательных компонентов, постоянно фиксируемых в принятых схемах, и при новом подходе к их анализу. Поставив вопрос о том, что движет обязательными компонентами — грамматическим структурированием, с одной стороны, и выбором/поиском слов, с другой, что ими управляет, мы и подойдем, на наш взгляд, к новому пониманию роли семантики в процессе порождения речи.

Отсутствие адекватной теории семантики затрудняет отражение ее подлинной роли в речевой деятельности, и все же первые исследования в этой области уже появляются. Поскольку по времени своего появления они приходится на последнее десятилетие, ориентируются они на разные концепции, доказавшие свою плодотворность в этот период, главным образом — на теории семантики синтаксиса, теории речевых актов и т. д. Да и сами они развиваются в рамках функционального или функционально-прагматического направления в современной лингвистике. Следовательно, чтобы оценить по достоинству это направление, нам представляющееся весьма конструктивным и перспективным, надо тоже вернуться к его истокам, но такая задача явно выходит за рамки настоящего исследования. Важно только указать, что в сфере психологии эти истоки коренятся в традициях советской психологической школы и, как мы пытались показать выше, постановкой многих проблем мы обязаны этой школе. С другой стороны, в сфере лингвистической интерпретации психологических процессов речеобразования и речевосприятия рассматриваемое направление подытоживает результаты как собственно психолингвистических исследований и у нас в стране, и за рубежом, так и некоторые итоги лингвистических советских и зарубежных исследований в разных сферах семантики, грамматики и т. д. Очевидно также, что основные принципы этого направления формируются в настоящее время с учетом радикальных перемен в понимании целей и задач самой лингвистики и, главное, с учетом критики в адрес порождающей грамматики. Наконец, новый подход складывается в ходе освоения как собственного, так и зарубежного опыта экспериментальных исследований. Таким образом, вывод о том, что «на каждом этапе развития мысле-речи ее материал обладает содержательными характеристиками», и о том, что семантический компонент решительно отличен от всех прочих блоков и компонентов моделей порождения, подготовлен всей предшествующей историей развития психологии, психолингвистики и лингвистики; он ведет логически к признанию определяющей роли семантики для всего процесса порождения речи и обеспечения его содержательного единства и, наконец, к необходимости рассматривать семантику в качестве фактора, «имплантированного во все этапы и на каждом этапе выполняющего иные задачи» [Голод, Шахнарович 1981, 240].

С этой точки зрения можно проанализировать теперь, в какие этапы «имплантировалась» семантика предыдущими исследователями и какие фрагменты речевой деятельности уже были описаны с ее помощью.

Естественно, что более всего нас интересуют те этапы, которые так или иначе связаны с актами номинации, ибо и семантика привлекает наше внимание не столько сама по себе, сколько как компонент, связанный с номинацией и вводящий в действие механизмы номинации. Не лишне напомнить в этой связи, что многое, сказанное о семантическом компоненте речевой деятельности, может быть экстраполировано и на ее номинативный аспект. В существующих моделях порождения речи номинативный

аспект тоже никем специально не выделялся, тем менее изучена его роль на протяжении процесса речевой деятельности и ее подготовки. Однако у нас есть все основания полагать, что значительная часть семантически окрашенных процессов речевой деятельности протекает именно в качестве процессов номинации, т. е. процессов поиска, выбора и при необходимости создания надлежащих единиц номинации. Есть также основания полагать, что акты номинации осуществляются в ходе осуществления всего процесса создания речевого высказывания (ср., например, типичные поиски подходящего слова где-то в середине уже начатого высказывания и связанные с этим паузы, элементы хезитации и т. д. и вообще задержки в плавном разворачивании речи).

По нашему глубокому убеждению, акты речи начинаются еще на дозвученной стадии с обозначения разных элементов будущего высказывания, что уже предполагает постоянное обращение к памяти и хранящемуся в ней запасу номинативных средств. Но обращение к инвентарю номинативных средств только начинается во внутренней речи; по мере выстраивания синтаксической конструкции идет постоянное ее согласование и видоизменение, связанное с вовлечением в нее определенных единиц номинации. Да и завершаются акты речи номинацией ситуации, события или других явлений, отражаемых в высказывании.

Нельзя не отметить поэтому прямых и непосредственных связей семантического компонента с номинативным, возникающих вследствие того, что по крайней мере часть языковых значений кодируется в виде единиц номинации. Изучение этого важного момента помогает поэтому пролить свет на самые сложные проблемы порождения речи: ведь неясно как раз то, каким образом и на каких стадиях порождения речи содержательные, но не вербальные характеристики мысли превращаются в собственно семантические, т. е. вербализуются и приобретают языковую форму [Кубрякова 1984, 16 и сл.].

Подобная постановка вопроса (превращение содержательных характеристик мысли в семантические языковые сущности) уже отличает нас от многих предыдущих исследователей. Так, С. Д. Кацнельсон, предложивший одну из наиболее интересных и убедительных концепций преобразования мысли в речь (через пропозицию и релятивные предикаты [см. Кацнельсон 1972]), справедливо подчеркнул, что рчеобразование представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, который «менее всего процесс передачи готовой мысли или акт механического поэлементного перевода с какого-то внутреннего кода на натуральный язык» [Кацнельсон 1984, 4]. Но далее он указывает, что в этом процессе «формы языка необходимо сопутствуют мышлению от начальной фазы зарождения мысли до момента отчуждения и передачи ее слушателю» [там же]. Но признавая невербальный характер части мыслительных операций, мы не можем согласиться с такой характеристикой «неразрывной» связи языка и мышления, о чем выше писали специально. Есть стадии мышления, содержательные и полные значения, но тем не менее с языковыми формами и вербальным кодом все же не связанные (или связанные лишь в том опосредованном виде, который обуславливается знанием языка и накопленными в голове человека вербально реализованными понятиями и категориями, членищими мир и упорядочивающими его восприятие). С языком связано наше речевое мышление, но мышление как таковое может быть и авербальным.

Такую же оговорку надо делать и относительно семантики. В любой мысли

есть свое значение, свой смысл. Это не значит, однако, что любая мысль строится на основе языкового значения или что любой сознательный акт должен быть вербализован. Можно называть семантикой науку о значении вообще, но, как мы уже говорили выше, мы называем семантикой науку о языковом типе значения, о значении, манифестируемом языковыми формами. Говоря о действии семантики в порождении речи, мы, следовательно, ставим вопрос о том, какое влияние и с какого момента начинает оказывать категория языкового значения в порождении речи. В большинстве имеющихся в отечественной науке моделей порождения речи на этот вопрос отвечали недвусмысленно — с того момента, когда речь начинает «словливаться».

Интересно поэтому отметить, что даже тогда, когда в схему порождения речи было введено звено внутреннего программирования, а в нем были противопоставлены формальная и содержательная стороны [Леонтьев А. А. 1969б, 266—267], фактически здесь принималось во внимание не действие семантики: обращение к категории смысла на этом этапе либо выводило нас вообще за рамки языка (когда смысл интерпретировался как идеальный концепт, не связанный с языковыми формами его выражения и могущий иметь другой субстрат), либо возвращало нас к семантике слова (когда смысл, как у А. Р. Лурия, понимался и определялся как «индивидуальное значение слова» [Лурия 1979, 53]).

С семантикой слова отождествлялся семантический компонент и в модели Б. Ю. Нормана [Норман 1978, 37 и сл.]. В наиболее развернутой и интересной психологической схеме формирования и формулирования мысли посредством языка у И. А. Зимней [Зимняя 1978, 80 и сл.], где переход от мысли к речи изображен как состоящий из трех разных уровней (побуждающего, формирующего и реализующего) и где внутри формирующего уровня специально выделены смыслообразующая и формулирующая фазы, фаза смыслообразования соотнесена с процессом программирования речевого высказывания [Зимняя 1978, 77]. «В норме,— подчеркивает И. А. Зимняя,— смыслообразующая и формирующая фазы монолитны. Это единство двух фаз определяется неразрывностью мышления и языка, слова и понятия» [там же]. Таким образом, и здесь подспудно проводится идея о том, что этап грамматического структурирования — это только «процесс языкового оформления общего смысла высказывания», в то время как семантика занимается по-прежнему выбором слов. Правильно указывая на «органическое объединение номинации и предикации» [там же, 78] и относя оба этих феномена к смыслообразованию, И. А. Зимняя подходит ближе всех к адекватной оценке роли семантики в порождении речи, хотя сама об этом нигде и не говорит. Но приверженность старым «словным» моделям ощутима и здесь: из памяти «вызываются» понятия, и лишь вместе с ними актуализируются все семантические комплексы, или поля, что означает и актуализацию слова. Номинация сводится опять-таки к выбору слов, а предикация — к речевой операции по линейному размещению слов и к грамматическому их оформлению. Естественно, однако, что сведение актов номинации к извлечению слова из памяти никак удовлетворить не может, да и представление предикации как акта связывания готовых слов наводит невольно на мысль о том, что номинация предшествует предикации, а не симультанна с нею, как настаивает сама И. А. Зимняя. Наконец, рассмотрение номинации как процесса, укладываемого в схему «понятие→слово», обедняет пред-

ставление о реальной сложности этого процесса и участвующих в нем единицах

Выше мы уже охарактеризовали подробно те единицы номинации, которые имеет в своем распоряжении говорящий, овладевший системой того или иного языка, вернее те типы единиц номинации, к выбору которых он обращается в ходе речевой деятельности. Существование единиц номинации разных типов и разной структуры, разной протяженности и уровневой принадлежности, разного функционального назначения и по-разному членящих действительность, наконец различных по типам передаваемых ими значений означает с позиции говорящего, что когда он планирует свое высказывание, он должен найти подходящую форму формирующейся мысли. Перед ним встает сложная задача выбрать из всего инвентаря номинативных средств подходящие названия как средства обозначения задуманного.

В моделях порождения речи, ориентированных на слово и изображающих этот процесс в виде поиска и выбора слова и его дальнейшего грамматического оформления, указанная выше задача решалась с опорой на такие категории, как словесное значение. Соответственно, личностные смыслы рассматривались так, как если бы все они могли найти во внешней речи обозначения одним и тем же средством номинации — словом. При таком подходе оставалась в тени другая сторона процесса порождения речи — синтаксическая. Оставалось неосвещенным и неясным, как создается речевое произведение с синтаксической точки зрения, как рождается синтаксическая, линейно-сукцессивная модель предложения или как она выбирается говорящим, какая часть личностных смыслов не выражается и не может быть выражена словом и т. д. Оставалось неизученным, проще говоря, как складывается синтаксическая структура предложения и какую часть из задуманных им значений говорящий может выразить и выражает с помощью предложения. Эти вопросы и целый ряд связанных с ними встали перед языкознанием XX в. вместе с появлением генеративной грамматики — направления, которое впервые поставило на повестку дня проблему порождения предложения и которое представило несколько разных вариантов моделей такого порождения. К анализу этих моделей, ориентированных уже не на слово, а на предложение, мы и переходим в следующем параграфе.

4. МОДЕЛИ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ И ГЕНЕРАТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ

Вопрос о том, как формируются синтаксические структуры в речевой деятельности, приобрел статус центральной проблемы лингвистики с возникновением такого ее направления, как трансформационная, а позднее — генеративная грамматика. Если первоначально сторонников этого направления интересовала более всего задача представления языка в виде особого порождающего устройства, генерирующего правильные изолированные предложения данного языка, но задача отражения механизмов речевой деятельности специально не ставилась, в психолингвистике генеративные модели порождения речи были восприняты прежде всего как описывающие реальное порождение речи. Они стимулировали важный этап в психо-

лингвистических исследованиях, связанный с экспериментальной проверкой тех или иных гипотез этого направления и, главное, с изучением синтаксических аспектов порождения речи

Хотя еще в 1961 г Н Хомский считал ошибочным заключение о том, «что порождающая грамматика, как таковая, есть модель для говорящего или соотносится с ней каким-то строго определенным образом» [Chomsky 1961, 14], далее он стал настаивать на возможности перенесения этой модели в психолингвистику и ее экспериментального подтверждения Вне зависимости от того, какими именно оказались конкретные результаты подобных экспериментальных исследований [см подробнее Леонтьев 1969а], существенным было уже то, что они были связаны с изучением синтаксических структур разного строения и разной сложности Широкое же исследование синтаксиса и его роли в речевой деятельности до этого времени практически не проводилось Важно было и то, что параллельно такой экспериментальной работе и в ходе ее осуществления возникали проблемы, центральные для понимания всей речевой деятельности и относящиеся к правилам преобразования цепочек смыслов в организованные последовательности высказываний с помощью синтаксических структур

Положительным моментом исследований указанного направления и его резкой критики явились сами попытки объяснить природу знания языка и механизмы его использования, разобраться в составляющих языковой способности людей, установить психологические и лингвистические предпосылки владения речью и воссоздать путь образования высказываний Сама критика генеративного направления, осуществлявшаяся с разных позиций, принесла свои плодотворные результаты, ибо стала стимулом к исследованию явлений, ранее в круг изучаемых проблем не входивших

От рекурсивного анализа синтаксических процессов в узком смысле слова исследователи вскоре «перебросили мостик» к изучению речевой деятельности Как подчеркивала позднее О И Москальская, «описание в терминах синтаксических процессов должно служить цели моделирования реальных процессов продуцирования речи, хотя бы в первом приближении и в каком то из их звеньев» [Москальская 1974, 20]

В ходе конфронтации генеративной грамматики с другими направлениями современной лингвистики четко определились основные линии расхождения у разных течений и школ Была ясно осознана и специфика советской психолингвистической школы Ведь именно здесь давно подчеркивалось, что речевая деятельность, отражая широкий и разнообразный спектр интенций и замыслов говорящего, является обычно составной частью деятельности более высокого порядка Непосредственной задачей речевой деятельности является создание не изолированного высказывания, а определенного речевого произведения — дискурса, текста и т п Уже это существенно повлияло на исходные установки советской психолингвистики, в рамках которой постулировали, что предметом анализа не может являться выхваченное из дискурса отдельное высказывание и даже не сам текст как определенный продукт процессов речеобразования или материал для процессов речевогоприятия, а сами эти процессы Соответственно изучение отдельных предложений и текстов мыслилось в советской психолингвистике как подчиненное более сложной задаче определения их роли и места в человеческой деятельности как таковой Основное внимание уделялось у нас поэтому динамической организации речевой деятельности, объединению отдельных ее дей-

ствии, операций и стратегий в интегративное целое — в сложную систему, которая, «вписываясь» в разные типы человеческой деятельности, обуславливается конкретными ситуациями и задачами этих последних [Леонтьев 1976, 13 и сл.]

Естественно, что такой анализ отнюдь не исключает понимания речевой деятельности в ее вербальном воплощении как начинающейся с порождения отдельного — исходного высказывания. В связи с этим можно понять, почему американские психологи и психолингвисты так активно поддержали обращение трансформационной грамматики к анализу предложения — с этих позиций можно было подвергнуть резкой критике представленные до этого вероятностные, стохастические модели порождения речи, изображавшие развитие речи как переход от одного слова к другому, соответственно ассоцианизму (любая реакция служит стимулом для следующей реакции). С этих позиций можно было приступить, наконец, к решению вопросов о том, как запоминается, узнается, конструируется, воспринимается и т. п. предложение. Ведь связь предложения с мыслью и суждением, раскрывающая суть когнитивных процессов, не могла быть использована для анализа высших психических функций до того, как формирование предложения в мозгу говорящего и речи оставалось совершенно непонятным. Но это было именно так, например, слова Ч. Осгуда о том, что «никто из нас не подошел к пониманию того, как люди создают и понимают предложения» [Osgood 1968, 519], или слова Т. Бивера, почти буквально его повторяющего и замечаящего, что психология много времени уделяла доказательству трансформационной грамматики, но наша проблема иная — определить механизмы, обеспечивающие запоминание, узнавание и т. п. предложения, так как здесь «мы вообще ничего не знаем» [Bever 1968, 490]. Как центральную проблему современной лингвистики характеризует вопрос о том, «каким образом мы можем понимать (или создавать) новые для нас предложения», и Д. Слобин [Слобин 1976, 29, ср. также Garrett, Fodor 1968, 451 и сл.]

Лишь спустя десятилетие в психолингвистику начинают проникать новые веяния из грамматики текста, в связи с чем и здесь ставятся проблемы связности текста, принципов его линейризации и т. д. [ср. Levelt 1983, 278, Haggis R 1983, 864 и др.] Ясно, однако, что включение в орбиту психолингвистических исследований всех этих проблем стало возможным лишь после того, как внимание ученых было привлечено к самому факту порождения предложения и его каркаса, костяка в виде синтаксической схемы и структуры.

По замыслу ее создателей, порождающая грамматика как особое научное построение должна явиться своеобразным отражением и языковой системы, и языковой способности говорящих. Последняя состоит в том, что говорящий, располагая конечным числом исходных правил и единиц, способен к образованию и пониманию построенных с их помощью новых высказываний. Знание грамматики и словаря должно существовать в таком виде, чтобы дать возможность говорящему соотнести определенные языковые формы с определенными значениями и сформировать на этой основе необходимое новое высказывание, предложение. Главным принципом трансформационной грамматики является ее ориентация на предложение, причем не только в том смысле, что предложение объявляется главной единицей синтаксического уровня. Предложение рассматривается здесь как центральное понятие язы-

ковой системы в целом, как фундаментальное понятие лингвистической теории, без характеристики которого нельзя дать представления ни о закономерностях овладения языком, ни об основных свойствах речевой деятельности и речевого общения [ср. Pasch, Zimmermann 1983, 252 и сл.].

Создатели трансформационных грамматик неоднократно цитировали известные слова В. фон Гумбольдта о том, что язык обладает способностью посредством ограниченных средств создавать безграничное множество новых предложений [ср. Хомский 1972, 28, Звегинцев 1973, 47 и сл.]. Дело лингвиста представить этот инвентарь средств таким образом, чтобы дать строгое описание процесса порождения предложения и тех правил, которым этот процесс подчиняется. Для этого надо прежде всего уметь поставить в соответствие каждому реальному высказыванию его структурное, формализованное описание — синтаксическую схему его конструирования и порождения. На первых порах становления порождающей грамматики считали, таким образом, что порождение предложения может быть представлено как следование особым формальным процедурам разворачивания синтаксической конструкции (ср. $S \rightarrow NP + VP$, далее $NP \rightarrow Det + N$ и т. д.). Ясно, однако, что такое представление не отвечало никак на вопрос о том, что же вызывает к жизни сам механизм синтаксического развертывания высказывания. До создания порождающих грамматик ответ на этот естественный вопрос считался тоже как бы само собою разумеющимся. Предложение существует как единица, служащая выражению мысли или суждения; за предложением и стоит мысль, или суждение, характеризующее значение предложения. Определить значение предложения и значит вернуться к мысли, легшей в его основу, и, напротив, все, что есть в мысли, составит далее значение предложения. Естественным было в традиционной лингвистике и стремление «вывести» значение предложения из его составных частей, слов, из того, что непосредственно дано в самом составе предложения. Простым принципом изучения семантики предложения, который выработывался тысячелетиями, был соответственно принцип определения его значения по реальной форме предложения, т. е. по представленным в нем словам и типам их сочетаний. Традиционная психология речи ярко отразила суть этого представления, говоря о путях от мысли — к слову. И в лингвистике, и в психологии предложение изучали как непосредственную данность; выводы о семантике делались также на основании анализа этой данности «пословно».

Кардинальные перемены в понимании организации предложения и возможностей его содержательного истолкования были связаны поэтому в первую очередь с выходом за пределы отдельно взятого предложения и с рассмотрением непосредственной данности такого предложения на фоне других предложений языка. Уже на этапе, предшествующем введению понятия глубинной структуры предложения, генеративистами был сделан важный шаг в сторону изучения семантики предложения и семантики синтаксиса, когда они указали, что явления, традиционно изучавшиеся применительно к слову (омонимия, полисемия, синонимия), нуждаются в освещении и на уровне синтаксиса. Однако, чтобы увидеть здесь эти явления, надо было рассмотреть не столько предложение само по себе, сколько его связь с другими предложениями языка, а значит, парадигматические отношения синтаксических единиц. Отход от дескриптивных традиций с их вниманием к синтагматике здесь был вполне отчетлив. Главный упрек в адрес грамматики непосредственно составляющих сводился как раз к тому, что она не в состоянии отразить

связи между утвердительным и вопросительным предложением, между активным и пассивным оборотом и т. п. Введение понятия трансформации как операции, преобразующей одну структуру в другую, но не затрагивающей вместе с тем основного содержания предложения, сыграло важную роль в анализе семантики синтаксиса. Ведь чтобы узнать «одно и то же» за разными синтаксическими структурами или, напротив, распознать различие содержания за одним и тем же предложением, предлагали трансформировать его в другое предложение по вполне определенным формальным правилам. Доказательство полисемии или омонимии становилось делом специального анализа, причем предполагалось, что в понимании предложения человек совершает примерно те же процедуры.

Способность одного и того же предложения служить передаче разных значений, демонстрируемая на знаменитых ныне примерах *Visiting relatives can be annoying* или *Flying planes can be dangerous*, доказывалась их соотносительностью с двумя разными синтаксическими структурами, ср.: *Annoying can be when we visit relatives* или *when they visit us*, ср. рус. *Посещение родственников может раздражать* либо в смысле *Когда нас посещают родственники*, либо в смысле *Когда мы посещаем родственников* и т. д. С другой стороны, обратили внимание и на обратное: способность разных синтаксических оборотов служить передаче одного и того же содержания; ср. *Рабочие строят дом; дом строится рабочими; строительство дома рабочими* и т. п.

Уже это заставило поставить вполне закономерный вопрос о том, чем же все-таки определяется семантическая эквивалентность одних предложений и, напротив, семантические расхождения других. Вот почему генеративисты были вынуждены отказаться от выдвинутых ими ранее постулатов о том, что «по-видимому, только на чисто формальной основе можно получить твердую базу для создания грамматической теории» и даже о том, что тезис о построении грамматики на обращении к значению совершенно не обоснован [Хомский 1962, 504, 512].

На смену такой грамматике — без значения — и приходит постепенно грамматика, по-прежнему утверждающая примат и главенство синтаксиса, но в то же время уже скептически относящаяся к тезису об абсолютной формальности синтаксиса и основной синтаксической операции — трансформации как якобы никогда не меняющей исходного значения конструкции.

Первое пятилетие своего развития трансформационная грамматика изучала порождение предложения как механическую субституцию обязательных компонентов высказывания (именной и глагольной групп) их реальными аналогами, для восстановления протекания которой шли обратным путем: от непосредственных данных, составляющих высказывание, к замене их абстрактными символами. Такой вариант грамматики «обладал механизмом для определения тождеств и различий в значениях предложений, но не давал ответа ни на вопрос о том, как соотносится смысл высказывания с синтаксической структурой предложения, ни на вопрос о том, что понимается под смысловым представлением предложения и на каком этапе порождающего процесса оно формируется» [Соболева 1976, 61].

Для того чтобы дать ответы на эти вопросы, в трансформационной грамматике и выдвигается понятие глубинной структуры предложения как противопоставленной структуре непосредственно наблюдаемых единиц предложения, называемой поверхностной. Краеугольным камнем трансформацион-

ной грамматики становится соответственно выделение двух уровней интерпретации предложения: «поверхностного, непосредственно связанного с той формой предложения, в которой мы его слышим, и глубинного уровня, непосредственно связанного со значением предложения» [Слобин 1976, 50]. Или, как подчеркнет позднее Дж. Лайонз, «любая грамматика, которая ставит своей задачей приписать каждому порождаемому ею предложению как анализ глубинной, так и анализ поверхностной структуры, а также установить между двумя этими анализами систематические отношения, является трансформационной грамматикой» [Лайонз 1978, 263].

Название ее объясняется теми мыслительными операциями, которые надлежит проделать человеку на пути между глубинной и поверхностной структурой, между значением и формой (звучанием, написанием) предложения, между тем, что «дано уму», и тем, что дано в виде языковых сигналов. Эти операции преобразуют исходный символ, осуществляя его постепенное ветвление, развертку, и называются (грамматическими) трансформациями [Хомский 1972, 28]. Исходный символ S превращается первоначально в исходную цепочку (underlying string), которая, трансформируясь (поступая в распоряжение трансформационного компонента грамматики), превращается в производные (derived) strings, которые затем и составляют структуру предложения [ср. Слобин 1976, 43 и сл.; Вовшин 1983].

Трансформации не меняют смысла задуманного предложения, представляя собой отдельные деривационные шаги на пути от абстрактной схемы предложения к ее реализации. «Внимательно присматриваясь к порождающим процессам, как их изображает Хомский,— пишет С. Д. Кацнельсон,— мы вдруг замечаем, что уже в исходной синтаксической структуре, с которой начинается весь процесс, содержится в запрограммированном виде весь итог процесса.» [Кацнельсон 1972, 60].

Но если значение предложения рисуется как уже сформированное в мозгу говорящего еще до его вербализации, язык осуществляет не что иное, как механическую перекодировку «с языка мысли» на язык национальный, конкретный. Но доводы против такого «переводного» характера процесса порождения речи мы уже приводили выше: мысль не «переводится» на язык, а творится и формируется в этом процессе.

В порождающей грамматике, правильно указывает В. А. Звегинцев, процесс создания предложения рассматривается «на пространстве от операционного конструкта, каким является категория глубинной структуры, до поверхностной структуры» [Звегинцев 1973, 54]. Оценка порождающей грамматики может быть связана поэтому в первую очередь с оценкой плодотворности или, напротив, несостоятельности категорий глубинной и поверхностной структур и, следовательно, с тем содержательным истолкованием, которое дается этим категориям, прежде всего такому «операционному конструкту», как глубинная структура.

Историки американского языкознания уже начали освещать эволюцию взглядов на глубинную структуру и даже спорить о том, в каких версиях генеративной грамматики она представляла то более близкой к реальной поверхностной структуре, то, наоборот, более удаленной от нее и более абстрактной. И, действительно, более радикальные перемены, чем те, которые наблюдались в трактовке глубинной структуры, трудно себе вообразить. Но без этого нельзя представить себе и общего направления в преобразовании представлений о закономерностях процесса порождения предложения и роли

в этом процессе синтаксических структур [ср. Fodor Janet 1980, 47—48, 89, 123, Kempson 1977, 106 и сл.; Бархударов 1976, 98].

Интересно отметить, что если в догенеративных моделях порождения речи основной единицей считалось слово, его поиск и выбор, да и операции сочетания слов придавали очень большое значение, с выдвинутым генеративных моделей произошло обратное. Определяющую роль в развертывании предложения стали придавать не слову, от которого шли во всех вероятностных, стохастических моделях, но синтаксической структуре «Марковский процесс», каким считалось некогда построение предложения, в котором появление каждого слова определено непосредственно предшествующим его словом или группой слов, подвергся уничтожающей критике, ибо ассоциации между соседними словами никак не могут объяснить ни понимания речи (немецкую конструкцию с отрицанием в конце можно понять, только прослушав ее всю целиком), ни ее порождения [ср. Норман 1983, 44].

Но постулируя порождение речи от глубинной структуры, впали в другую крайность, пренебрегая тем существенным, что вносит конкретное слово в построение конкретного предложения. Критики трансформационной грамматики быстро обнаружили такие примеры, где одна и та же глубинная структура, притом заполняемая словами с теми же категориальными признаками, значила разное, ср.: *The man hit the colourful ball*, что значит либо «Человек поразил присутствующих на ярком балу», либо «Человек ударил по яркому мячу», где два прочтения предложения связаны не с различием синтаксических структур, а с омонимией заполняющих их лексем (ср. *hit* 'поразить' и 'ударить', *ball* 'бал' и 'мяч').

Отождествление глубинной структуры с деревом порождения (до слов, т. е. с фразовой структурой) привело к необходимости придумывать разные способы разрешения синтаксической омонимии с помощью деревьев разных рисунков [Барченкова 1976, 41]. Но получалось так, что то, что уже интуитивно осознается как разное, надо изобразить разным рисунком. Создавалось впечатление, что введение каждого нового иллюстративного примера опровергает теорию или заставляет вводить в нее новые условия и оговорки. И все же до конца 60-х годов глубинная структура предложения трактовалась как синтаксическая, из чего следовало как будто бы, что порождение высказывания строится как порождение его синтаксической схемы, которая по мере действия трансформационных операций постепенно заполняется определенными сочетаниями реальных слов. Таким образом, в процессе порождения участвует лишь один — синтаксический компонент. Семантический компонент только интерпретирует глубинную структуру, а именно: определяет число возможных осмыслений данного предложения, записывает на особом языке значение каждого порождаемого предложения, обнаруживает в нем семантические аномалии и т. д. [Newmeyer 1980, гл. III]. Не входя в детали этой системы, подвергшейся, кстати, сразу обоснованной и резкой критике [Вейнрейх 1981, 50 и сл.], подчеркнем только ее основное свойство: сперва некая глубинно-синтаксическая схема, затем ее семантическая интерпретация. Но такой порядок порождающих операций явно противостоит, более соответствующим реальному положению дел выглядит обратный порядок операций — от значения на входе до синтаксических структур на выходе. Таким образом, хотя само по себе введение семантического компонента в модель порождения высказывания и было значительным шагом вперед по сравнению с формализмом первой версии генеративной грамматики

[Бархударов 1976, 28], понимание семантического компонента как интерпретирующего готовую структуру тормозило продвижение и развитие теории как теории порождения речи.

Как пишет Ю. Д. Апресян, в результате критического пересмотра концепции Дж. Катца — Дж. Фодора «идея семантической интерпретации готовой синтаксической структуры уступила место идее синтеза предложения с заданным смыслом» [Апресян 1974, 20]. В одних версиях грамматики ставится под сомнение существование глубинной структуры, отличной от семантической, в других по-прежнему защищается идея глубинной как синтактико-семантической структуры. Рождается еще одно направление порождающей грамматики — порождающая семантика, где настаивают на том, что порождение предложений должно начинаться с их семантической (смысловой) структуры

Период конца 60-х — начала 70-х годов характеризуется борьбой между расширенной стандартной теорией (интерпретирующей семантикой) и порождающей семантикой, и хотя в целом терпит поражение эта последняя, в дальнейших исследованиях многие ее начинания находят свое логическое продолжение [Newmeyer 1980]. Среди этих положений нам важно отметить прежде всего признание того, что за предложением стоит некое представление, имеющее логический характер, и что о его наличии мы можем судить по определенным следам в поверхностной структуре предложения. Эти логические основания приписываются и процессу порождения высказывания, что позволяет сблизить значение предложения с его логической формулой и видеть зародыш этого значения в пропозиции

Таким образом, пройдя сложный путь исканий и испробовав явно тупиковые направления в поисках истины, генеративная грамматика самой постановкой проблемы о соотношении глубинных и поверхностных структур в порождении высказывания открыла новые пути исследования извечной проблемы о связи формы и содержания в языке. С одной стороны, эта проблема была поставлена на новом материале (предложении) и связана с рассмотрением корреляций и зависимостей между сложными синтаксическими структурами и их значением. С другой стороны, она была расчленена и представала как серия взаимосвязанных проблем о вкладе каждого языкового уровня и каждого деривационного шага в создание формы с данным определенным содержанием. Наконец, с постановкой вопроса о том, что именно осуществляет семантический компонент при построении высказывания и как он соотносится с синтаксическим компонентом, лингвистика вступила в период трудных, но необходимых для нее поисков ответа на вопрос, как протекает и как осуществляется речевая деятельность. Можно согласиться с нашими коллегами из ГДР, когда они, начиная критическое рассмотрение вопроса о роли семантики в генеративной грамматике, определяют свои установки и подчеркивают: «Центральной проблемой языковедения, а также семантических исследований является вопрос о том, на основании каких принципов и правил в языковых выражениях единицы сознания соотносятся со звуковыми последовательностями, каким образом закономерности упорядочивания связей звука и значения служат в конкретных исторически развившихся языках целям коммуникации» [Pasch, Zimmermann 1982, 246].

Несмотря на различие во взглядах ученых, в целом принадлежащих к генеративному направлению, некоторые общие принципы соотношения звуковых последовательностей с передаваемым ими содержанием, несомненно,

были выработаны. Одной из таких предпосылок является положение об упорядоченности, неслучайности, известной регулярности отношений между физической (материальной) последовательностью, которой представлено каждое конкретное предложение изучаемого языка, с его смыслом. Не будь эти отношения регулярными, речь для себя не могла бы стать речью для других. Предложения — это двусторонние единицы, форма которых служит определенным коммуникативным целям. Высказывание, осуществляя передачу сообщения или формулируя вопрос, просьбу или приказание, реализует некую коммуникативную установку. Отношения между формой предложения и его функцией тоже не беспорядочны и не случайны. Так, предложение *Который час?* не используется для передачи информации или высказывания утверждения, а синтаксическая структура *В треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов* вряд ли будет использована в качестве приветствия. Вот почему задача лингвистического описания обязательно включает задачу выработки аппарата соотнесения материальной, поверхностной структуры предложения с ее значением [Fodor Janet 1980, 3].

Но и к аппарату такого рода должны предъявляться особые требования. С одной стороны, принципы соотнесения формы и содержания высказывания должны быть достаточно общими. Поскольку реальное число возможных высказываний на данном языке практически безгранично, оно не может быть ни априорно, ни апостериорно быть известным исследователю. Описание языка, по определению, должно быть тоже пригодным для неограниченного корпуса материала (предвидеть его расширение и предсказывать его пути). В этом смысле оно вряд ли может строиться как конечный список единиц. Ни приписываемые предложению синтаксические структуры, ни строящиеся с их помощью значения никогда не могут быть перечислены списком.

С другой стороны, генерализации (обобщения), относящиеся к закономерностям соотнесения формы и содержания в языке, не могут быть сформулированы непосредственно, как прямые корреляции между звуком и значением (у отдельных звуков может не быть значения, а отдельные значения реализуются чаще всего некими последовательностями звуков и т. д.). Они и делаются поэтапно, послойно, соответственно стратификации языковых уровней. Более того семантика вступает в свои права с уровня морфем и только с разной их аранжировкой. Можно было бы сказать, что в каком-то смысле «значение предложения — это функция морфем, содержащихся в нем, и тех способов, которые обеспечивают их синтаксическую комбинаторику» [Fodor 1980, 4]. Целый этап структурального языкознания в Америке и был ознаменован именно таким подходом к языку: он лежит в основе дескриптивной модели языка. Но такая модель нерациональна, а с точки зрения говорящего, создателя высказывания психологически нереальна: речь не складывается из морфем, как из кубиков, даже упрощая реальное положение дел, можно заметить, что в построении речи используются гораздо более крупные «готовые» аранжировки морфем — слова, клишированные синтагмы и т. д. Идеи о складывании более сложных конфигураций из более простых, относившиеся в дескриптивном языкознании к аранжировке единиц одного уровня, в генеративной грамматике были по праву распространены на уровень самого предложения, где мысли об «исходности» одних конструкций и «произведенности», вторичности других легли в основу

всего процесса деривации предложений и осмысления этого процесса как выводимости одних конструкций из других (например, ядерных).

Идеи поэтапного формирования предложения потребовали раздельного представления отдельных компонентов грамматики и определения места каждого из них друг относительно друга. В иерархии уровней генеративной грамматики и велась ожесточенная полемика вокруг проблемы центральности либо синтаксиса, либо семантики. Дальнейшая эволюция моделей порождения в генеративной грамматике часто изображается ее историками как смена представлений о выделяемых компонентах грамматики и их иерархии. И действительно, за четверть века своего существования это направление беспрерывно менялось. Но суть этих изменений заключалась в конечном счете именно в оценке роли синтаксиса и семантики в порождении речи. Интересны поэтому не только представленные здесь взгляды по данному вопросу, но и само прослеживание взаимодействия семантики и синтаксиса в разных типах предложений, в деривации разных языковых единиц и т. д. Разные версии генеративной грамматики, рассмотрение которых вводит в задачу настоящего исследования, привели в конечном счете к созданию у нее определенной общей платформы. Частью ее и стало убеждение большинства исследователей в том, что семантика не составляет чего-то внешнего по отношению к лингвистике в собственном смысле слова [Мак-Коли 1981, 236], что модели порождения речи рациональнее строить «от значения — к синтаксису», а не наоборот. Очевиднее всего это направление в эволюции взглядов генеративистов сказалось и на понимании глубинной структуры предложения как понятия, призванного охарактеризовать определенный этап порождения речи, этап речевой деятельности. Рассмотрим, может ли способствовать это понятие отражению механизмов речевой деятельности и в каком виде оно может быть включено в ее описание.

Призыв генеративистов увидеть за поверхностным явлением его сущность, за поверхностной структурой — то, что за нею стоит, показался на первый взгляд весьма привлекательным. Он интуитивно был согласован с выводом психологов о том, что «не все, что нам известно о предложении, явно выражено в цепочке слов, которую мы произносим вслух» [Слобин 1976, 49]. Однако для объяснения причин такого положения исследователи генеративного направления не пошли в сферу выводных знаний, и прошло еще много времени, прежде чем значение предложения связали со способностью человека к умозаключениям и соотносению знаний языка со знанием мира. Интерпретацию предложения слушающим стали некритически приравнивать тому, что хотел сказать говорящий. Но за всем этим не увидели, как явственней и четче стала проступать недооценка поверхностной, т. е. реальной, данной в непосредственном опыте и говорящему, и слушающему структуры речевого высказывания.

Аргументируя необходимость введения понятия глубинной структуры, Хомский подчеркивал, что поверхностная структура предложения часто обманчива — либо потому, что двусмысленна, либо потому, что неинформативна или малоинформативна, но наше знание языка позволяет обнаружить за нею нечто более абстрактное: целую систему суждений, выражающих значение предложения [Хомский 1972, 49]. Мы сознательно привели эти выдержки из работы Хомского, чтобы противопоставить две точки зрения на порождение речи и саму роль речевой деятельности для человека.

Как мы пытались показать в предыдущих параграфах, для советской психологической школы было типично представление о речевой деятельности как начинающейся со смутного замысла, сконцентрированного чуть ли не в одном внутреннем слове, и как участвующей затем в формировании смысла и в обычном случае приводящей к полнокровному сообщению. Акт коммуникации отражает интенцию говорящего, но его содержание рождается вместе с этим актом и в ходе его осуществления.

Ясно, что для последователей Хомского все происходит иначе. Замысел, существующий в виде глубинной структуры, сразу чрезвычайно богат — это целая система суждений! Но если трансформирующие его грамматические операции превращают этот развернутый цикл суждений в поверхностную структуру, которая неинформативна, скомканна, то она уже не содержит в себе, очевидно, прежнего богатства мысли. С такой трактовкой речи как обедняющей, а не обогащающей мысль человека в принципе согласиться невозможно. И хотя мы не стали бы защищать точку зрения, согласно которой в языке можно выразить все, что угодно (ведь существуют виды искусства, которые призваны выразить именно то, что не подвластно языку), мы не умаляем и не должны умалять роли языка в жизни человека. Асимметрия задуманного и сказанного, возможно, и существует, но для обычной речи она вовсе не достигает таких масштабов. Считать же глубинную структуру хотя и абстрактным, но уже вербальным образованием, т. е. сплетением категориальных языковых значений, на месте которых постепенно появляются конкретные языковые единицы, т. е. принять одну из версий порождающей грамматики, мы тоже не можем. Ведь и в этом случае надо было бы опять-таки согласиться с тем, что человек сперва создает полную синтаксическую структуру, в которой все правильно, логично, ясно, а потом сворачивает ее до неинформативной и бедной поверхностной структуры. Семантическая интерпретация как бы должна вернуть к исходному смыслу предложения, «восстановить» его ценой огромных усилий по «прочтению» значений отдельных слов и установлению отношений между ними. Ясно также, что рассмотренная концепция строилась на воздвижении искусственной границы между синтаксисом и семантикой.

Порождающая семантика отказалась от постулата о жестком рубеже между синтаксическим и семантическим компонентами грамматики и о чисто интерпретирующей роли семантического компонента. Исходным для порождения речи является здесь семантико-синтаксическое представление предложения, смысл которого уже полностью задан синтаксически упорядоченными семантическими элементами. Это опять-таки довольно богатая структура, отражающая даже самые тонкие нюансы будущего высказывания. Но чтобы сделать это, структура должна иметь высоко абстрактный характер, и нередко для записи этой структуры представители порождающей семантики стали применять логические структуры. От этой концепции оставался поэтому лишь один шаг в сторону признания того, что смысл предложения полностью задается его логической схемой [Katz 1980]. Но против этого тоже можно возразить, причем одновременно по нескольким причинам. Во-первых, не все в значении предложения определяется задаваемыми здесь логическими отношениями (ср. *Он пришел* и *Он пришел, негодяй* и др.) [ср. Jackendoff 1981, 429, Seuren 1972, 237]. Во-вторых, если речь нелогична или не точна, на основании какой логической схемы она была развернута? В-третьих, если речи всегда предшествует логически проду-

манная схема, откуда в самой речи появляются моменты хезитации, перестройки на ходу, исправлений и уточнений?

Критикуя своих предшественников, Хомский указывает, что, по его мнению, одна из трудностей, стоящих перед исследователями человеческой психики, состоит в привычности явлений, с которыми имеет дело эта наука. Мы склонны считать эти явления чем-то само собою разумеющимся, а в результате страдаем от недооценки «либо абстрактности тех структур, которые «даны уму», когда производится или понимается высказывание, либо длины и сложности той цепи операций, которые связывают мыслительные структуры, выражающие семантическое содержание высказывания, с его физической реализацией» [Хомский 1972, 35—36]. Естественно, что повторять этих ошибок не следует. Цепь операций между мыслью и словом, по-видимому, действительно достаточно сложна и достаточно развернута. Но верно ведь и обратное: человек без всякого труда справляется с этой цепью операций в обыденной речи; он не испытывает особых затруднений при порождении речи в нормальном состоянии. Он говорит и говорит почти автоматически. Интуитивно кажется поэтому, что все-таки все его операции не так уж сложны по своей природе, чтобы их нельзя было проанализировать и описать или, по крайней мере, строить некие гипотезы о том, как все это происходит.

Постоянно создаются без особых усилий новые высказывания. Постоянно понимаются они теми, кому предназначены. Творческие способности человека в этом отношении бесспорны. Вопрос заключается только, собственно, в том, считать ли творческое начало принадлежностью одного сознания или же признать, что в активной познавательной и любой другой деятельности человека незримо присутствует и язык? Разделяя мнение о разных типах мышления и выдвигая гипотезу о разных типах перехода от мысли к слову, мы отвечаем на поставленный вопрос словами тех ученых, которые признают, что «словесное мышление — это только один из типов мышления» [Серебренников 1983, 112], хотя и подчеркиваем одновременно, что там, где мы встречаемся со словесным типом мышления, язык входит в процесс мышления и способствует его кардинальному преобразованию и развитию. Здесь он — творческое начало вместе с сознанием.

Подводя итоги сказанному, хочется подчеркнуть, что в генеративной грамматике было сделано очень многое, чтобы показать семантические возможности поверхностных структур и даже увидеть в них такие тонкости, которые раньше, безусловно, ускользали от внимания исследователей. Но сама мысль о том, что, приписав отдельным сложным хрестоматийным примерам их не менее сложное значение, мы можем таким же путем описать путь порождения речи, представляется сомнительной и уязвимой. Апостериорное знание не может выдаваться за способ его получения. Проще говоря: даже если мы знаем, что значит данное предложение, можем ли мы утверждать, что то же самое значение мыслилось изначально и в глобальном виде как подлежащее передаче? Поскольку мы отвечаем на этот вопрос отрицательно, модель порождения, предлагаемая генеративистами, кажется нам открытой критике и еще в одном направлении.

Называясь «порождающими», модели генеративистов наводят на мысль о том, что эти модели содержат в том или ином виде рецепты порождения или какие-то руководства по реальному конструированию речи. Ведь естественно ждать от них ответа на вопрос о том, чем руководствуется

человек при создании предложения с таким-то смыслом, как он приходит, используя знания языка, к его языковому выражению. На деле, однако, предлагаемые модели — это скорее модели восприятия речи, а не ее порождения [Леонтьев 1969б, 81; Наглон 1967, 75 и сл.]. Но строить психолингвистическую модель порождения, в которой смешивается операциональный аспект (набор правил) и аспект интерпретации результатов «на выходе», аспект порождения и аспект восприятия, значит смешивать грамматику говорящего с грамматикой слушающего и подменять позицию первого позицией второго, что недопустимо. Говорящий и слушающий производят разные операции, а не просто набор одинаковых операций с «обратным» порядком их расположения.

В свете рассмотренного понятно, очевидно, почему критика генеративного направления связана для нас как раз с тем обстоятельством, что «теория Н. Хомского и его последователей, избравшая своим объектом процесс порождения речи, оставляет, к сожалению, открытым вопрос о порождении предложения... предложение выводится из элементов, полученных путем расчленения готового предложения на непосредственно составляющие. В итоге получается порочный круг» [Кацнельсон 1984, 8]. Как указал еще в 1967 г. И. И. Ревзин, «реальный механизм производства речи... существует, по-видимому, не столько для того, чтобы определить все множество правил, но построенных фраз, сколько для того, чтобы каждый раз по строит (соответственно проанализировать) языковое выражение для заданного факта внешнего мира» (подчеркнуто нами.— Е. К.) [Ревзин 1967, 27].

Думается также, что приверженность всего генеративного направления к изощренной методике интерпретации предложения, а значит, к стремлению извлечь из него как можно больше в процессе «прочтения» привела к смешению понимания и интерпретации предложения с его языковым значением. Меж тем все эти вещи нужно и можно разделять. Языковое значение — это, на наш взгляд, лишь та информация, которая извлекается из предложения в ходе чисто лингвистического анализа и которая основана на объективном учете языковых значений слов, составляющих предложение, и схемы отношений между ними. Противопоставлять же понимание предложения и его интерпретацию можно по-разному [см., например, «Понимание как логико-гносеологическая проблема» 1982], но и это различие необходимо. «Понимание — это представление смысла, т. е. той информации, с помощью которой выделяются денотаты», оно «не требует канонического выполнения условий равенства, ибо связано с переконструированием исследуемого материала в контексте нового опыта» [Крымский 1982, 40 и сл.] Интерпретация же — это представление значений определенных выражений в других символах, но с сохранением условия их равнозначности. Понимание сближается с познавательным процессом, оно предполагает возможность осознания на разных уровнях и разных глубинах и выход за пределы одной системы знания в другую.

«Логика понимания в целом характеризует такое положение дел, когда из понятия одного положения следует понятие другого положения (ибо логика всегда остается теорией вывода, доказательства, какой бы аспект вывода она ни изучала» [Попович 1982, 22]. К определению языкового значения предложений таких требований предъявлять нельзя. Можно спорить о том, должна или не должна лингвистика заниматься тем, что обнаруживается сверх текста или за текстом. Но ведь в первую очередь

она должна обнаружить именно то, что дано в тексте и что связано с присутствующими в тексте языковыми единицами и связями. Такой анализ не может быть безразмерным, и какие-то разумные границы здесь необходимы. На этом пути можно дифференцировать, что хотел сказать говорящий, и что он реально сказал. Но исследовать и то и другое одинаковыми методами вряд ли удастся. Да и для того, чтобы осуществить эту сложную задачу, надо решить перед этим проблему, из чего складывается языковое значение предложения и как приходит говорящий к его выражению.

В генеративной грамматике акцент при решении этой проблемы делался на анализе готовых высказываний, да и семантический компонент модели, выступая как интерпретирующий, мыслился прежде всего как разрешающий задачу прочтения того или иного высказывания, а не его сборки.

«Семантический анализ данного языка должен объяснять,— писал М. Бирвиш, предельно ясно отражая точку зрения своего направления,— как предложения этого языка понимаются, интерпретируются и соотносятся с состояниями, процессами и объектами внешнего мира» [Бирвиш 1981, 177]. Таким же подчеркиванием моментов восприятия готовых предложений характеризуется и программа семантических исследований, намеченная некогда Дж. Катцом и Дж. Фодором и связанная с наблюдениями за способностями человека:

1) определить количество и содержание «прочтений» одного предложения, а значит, установить его смысл;

2) обнаружить в нем, если таковые имеются, семантические несоответствия или аномалии, а значит, отделить грамматически правильные предложения от грамматически неправильных,

3) установить перифрастические отношения между предложениями, нетождественными по своей формальной структуре (например, между активным и пассивным оборотом, между утвердительным предложением и предложением с двумя отрицаниями и т. д.);

4) отмечать некоторые другие семантические свойства, релевантные для построения предложений (например, приемлемости или же неприемлемости отдельных сочетаний слов) и т. д. [см. Katz, Fodor 1963; Garrett, Fodor 1968, 451]

При всей исключительной важности поставленных проблем очевидно, что все они возникают как следствие отведения семантике так сказать апостериорной роли. Все вопросы о том, как складывается или как формируется значение предложения, надо понимать здесь поэтому не слишком буквально: ведь речь идет не о формировании смыслов в процессе речевой деятельности как таковой, а о процедуре выведения смыслов из готовых высказываний.

В трактовке способов такого извлечения содержательных характеристик из высказывания генеративисты отнюдь не изобрели ничего нового. То, что постулировалось ими в теоретических работах, и то, что проводилось на практике, возвращало нас к знаменитым работам Г. Фреге. Но лишь в 1978 г. Даути, рассматривая основания грамматики Монтегю, подчеркивает: «...Значение, которое эта теория приписывает любому синтаксически сложному выражению, всегда является результатом сложения взятых значений, соответствующих частям указанного сложного выражения, и применения к этим значениям операций, соответствующих синтаксическим операциям

по созданию выражения. Это, безусловно, точная алгебраическая формулировка знаменитого тезиса Фреге о композиционной природе значения — того, что значение любого выражения есть функция значений его частей и правил, использованных для его формирования. » [Dowty 1978, 105—106; Ružička 1983, 16—17]. Аналогичную дань воздает Г. Фреге и М. Бирвиш [Bierwisch 1983, 79].

И хотя впоследствии как в пределах самого генеративного направления, так и за его рамками, были предложены более сложные операции по установлению значения предложения, никто не оспаривал и того, что в простейшей своей форме буквальное значение предложения может быть определено как сложное из значения составляющих его слов, с одной стороны, и из значений, формирующих отношения между этими словами. В конечном счете, таким образом, два главных момента обуславливали значение предложения: синтаксическая связь между словами и слова, вступающие в эти синтаксические отношения. Повторяя буквально слова Фреге, Дж. Катц постулировал, что значение предложения есть «композиционная функция слов, включенных в предложение, и схемы связей между ними» [Katz 1980; ср также Burckhart 1980, 15 и сл.]. «Должно быть... ясно,— указывает Бирвиш,— что в принципе значение предложения может быть получено в определенной форме на основе значения входящих в него слов и на основе его синтаксической глубинной структуры, и это выведенное значение верно отражает основное понятийное содержание данного предложения» [Bierwisch 1983].

Конечно, в орбиту изучения семантики предложения далее могут быть включены и более сложные данные. Так, подводя итоги анализа семантики в рамках генеративного направления и подчеркивая разные аспекты категории значения, Р. Паш и И. Циммерманн справедливо отмечают, что освещение семантики предложения, как, впрочем, и других языковых выражений, требует ее представления по крайней мере в трех разных аспектах:

- интенциональном, или сигнификативном,
- экстенциональном, или референтном,
- коммуникативно-прагматическом [Pasch, Zimmermann 1982, 307].

Первый аспект вводит в рассмотрение семантики предложения понятие пропозиции как отражающей общее значение предложения и его понятийный базис; второй связывает семантический анализ предложения с ситуацией (контекстом) его употребления и референтной отнесенностью его частей, откуда — вовлечение в анализ модального компонента, всевозможных кванторов, отрицаний, проблемы референтного или нереферентного употребления имен и т. п. Наконец, в качестве коммуникативно-прагматического аспекта в значении предложения следует рассматривать такие явления, как интенции говорящего и его установки, откуда — явления пресуппозиции, актуального членения, распределения темы и ремы и т. д.

Такое же многоаспектное и «последнее» исследование семантической структуры предложения предлагалось еще раньше И. П. Сусовым. Опираясь на денотативную основу предложения, он описывает процесс формирования значения высказывания как постепенное обростание абстрактной схемы новыми компонентами, вплоть до того момента, когда здание предложения будет воздвигнуто как многоэтажное, более или менее удовлетворяющее коммуникативному намерению говорящего [Сусов 1973, 1974].

Полная схема, отвечающая представлению о «коммуникатороцентриче-

ской» концепции речевого акта, включает, по И. П. Сусову, и референтную ситуацию (Р), и отношение к ней со стороны говорящего (Г), и создаваемый в этом акте текст (Т), и отношения между говорящим и слушающим (С), заключающиеся в понимании их статусных ролей и т. д. [Сусов 1980, 8—9 и сл.] (см. схему 5).

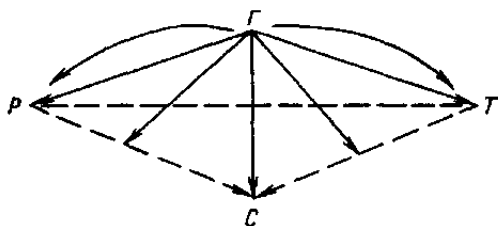


Схема 5

В принципе поэтому, строя полную модель порождения речи с позиций говорящего, надо было бы учитывать все эти отношения и соответствующие им исходные установки: выбор предмета, о котором пойдет речь, определение оценки этого предмета и всей ситуации, осознание цели коммуникативного акта, предположения об уместности выбора определенных языковых средств при общении с данным партнером, ожидания по поводу предполагаемого эффекта собственных речевых действий и т. д. Иначе говоря, в полной модели указанного рода надо учитывать и семантические, и прагматические факторы, вызывающие речевую деятельность. Лишь схематизируя процесс речи и ее начала, можно отвлечься от условий, места и времени коммуникативного акта. И тем не менее при исключительной трудности жесткого различения семантики и прагматики и спорности отнесения того или иного конкретного речевого действия к вызванному либо семантикой, либо прагматикой мы считаем возможным конструировать гипотетическую модель порождения речи, ограничивая ее рамки учетом одних семантических факторов. Более того. Мы предполагаем, что в реальном выборе тех или иных языковых средств и семантические, и прагматические факторы образуют совместно и нераздельно единые содержательные требования к порождаемому тексту. Их мы и называем смысловым заданием говорящего.

Построить модель порождения речи с позиций говорящего означает поэтому для нас предусмотреть основные принципы и правила перехода от смыслового задания речевого акта к языковым средствам его объективации, т. е. совершить некую реконструкцию своеобразного речемыслительного с психологической точки зрения и «ономасиологического» с лингвистической точки зрения процесса. Такой реконструкцией мы и займемся в следующем параграфе, полагая, что если при выведении значения предложения обнаруживается его зависимость, по крайней мере, от: а) синтаксической схемы высказывания и определяемых ею отношений между отдельными его частями и б) единиц номинации, заполняющих эту схему, при создании предложения говорящий сталкивается с необходимостью совершить процедуры выбора и конструирования тех же величин — модели предложения и реализующих ее конкретных языковых форм. Рассмотрим, как может совершаться этот процесс в речевой деятельности говорящего.

НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗНЫЕ ТИПЫ (И МОДЕЛИ) ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СООТНОШЕНИИ НОМИНАЦИИ И СИНТАКСИСА (ПРЕДИКАЦИИ) В АКТАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОДЕЛИ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ

Уже в знаменитых «Тезисах» Пражского лингвистического кружка его авторы подчеркивали: «Посредством номинативной деятельности язык расчленяет действительность (безразлично, внешнюю или внутреннюю, реальную или абстрактную) на элементы, лингвистически определяемые» [Тезисы... 1967, 22]. Этот процесс происходит и при подготовке и планировании речевого высказывания, когда отражаемый в голове человека фрагмент действительности, о котором он хочет рассказать другому человеку, начинает переводиться с предметно-схемного или предметно-образного кода на естественный язык и члениться на элементы лингвистически определяемые. Выше мы описали этот процесс психолингвистически, анализируя его в терминах перехода от личностных смыслов, возникающих при отражении и оценке ситуации, подлежащей описанию в речевом высказывании, — к языковым значениям. Мы также определили роль в этом процессе распределения языковых значений по каноническим формам их представления языковыми средствами. Рассмотрим теперь, как можно представить этот процесс с лингвистической точки зрения.

Думается, что создать предложение — это прежде всего осуществить процессы номинации кардинально различных типов: процессы номинации, относящиеся к глобальному обозначению всей ситуации, факта, события и т. п. и к ее расчленению, с одной стороны, и процессы номинации, относящиеся к обозначению отдельных элементов описываемой ситуации или события, с другой. Поскольку поиск синтаксической схемы высказывания, его типа, пропозиции как его ядра, а далее — порядка и иерархии развертываемых компонентов предложения и т. п. считают по традиции уделом синтаксиса, мы будем в дальнейшем придерживаться этой традиции, а следовательно, противопоставлять предикацию собственно номинации. Хочется отметить вместе с тем, что признание такого понятия, как номинативный аспект предложения [Арутюнова 1971; Абрамов 1972, Гак 1973 и 1977; Степанов 1973; Москальская 1974; Колшанский 1975; Кубрякова 1977 и др.], да и постановка вопроса о том, что называет предложение

в отличие от слова [ср. также Кривченко 1981], делают далеко не бесполезной трактовку поиска и выбора синтаксического костяка предложения как проблемы номинативной пропозиции и номинативного синтаксиса (пропозитивной номинации).

Лишь для того, чтобы не смешивать процессы предикации с процессами подлинно номинативного характера, направленными на поиски или создание единиц номинации для обозначения единичного явления, предметов, признаков и т. д. и отдельных компонентов ситуации, мы оставляем наименование «номинация» для этих последних процессов наречения отдельных фрагментов мира. В таблице же единиц номинации, которые имеет в своем распоряжении говорящий, мы указали выше (стр. 43) и предложение, исходя из того, что и его можно рассматривать «как номинацию особого рода, денотатом которой является не предмет, а целая ситуация, факт» [Москальская 1974, 9]. В то же время функция называния не является, как правило, ведущей функцией предложения, и хочется развести разные его аспекты. Хотя предложение выполняет по крайней мере две функции — именовать событие и сообщать о нем [Абрамов 1972, 7], наречение события оказывается средством рассказать о нем, но не его самоцелью. Необходимость сообщить, попросить, потребовать, узнать и т. д. диктует появление такой лингвистической формы, как модель предложения, и такой операции, как выбор из арсенала известных моделей наиболее подходящей для данного речевого акта и его целей. С другой стороны, необходимость назвать то, о чем пойдет речь, диктует появление таких лингвистических форм, как единицы номинации в более узком смысле слова. Для того, чтобы стало реальным первое, говорящий должен обладать запасом правил о построении определенных синтаксических структур; для того, чтобы стало реальным второе, он должен обладать либо а) запасом готовых единиц номинации (а следовательно, хотя бы частичным знанием словаря), либо б) правилами построения таких единиц (обычно и тем, и другим одновременно). Первое обеспечивается знанием синтаксиса и механизмом аналогии в использовании его единиц; второе — знанием лексикона, словообразования, фразеологии и сочетаемостных свойств слова

Соответственно этому распределяются и роли отдельных выделяемых нами в общей модели порождения речи ее отдельных компонентов. Так, семантический компонент производит известную сортировку личностных смыслов, их перекодирование, их отнесение либо к пропозициональным, интенциональным типам языковых значений (синтаксису), либо к назывным. Внутри синтаксиса семантика (совместно с прагматикой, ибо жесткой границы между ними пока провести не представляется возможным [ср. Schank, Birnbaum, Mey 1983, 149 и сл.]) диктует распределение ролей между членами формирующейся пропозиции, а также состав каждого из членов пропозиции и дополняющих ее элементов, т. е. как тип пропозиции, так и реальное заполнение ее мест конкретными единицами номинации. Синтаксический компонент ответствен, таким образом, за разворачивание схемы предложения и определения количества мест в этой схеме, т. е. количество синтаксических позиций. Номинативный же компонент можно рассматривать тогда — в противоположность синтаксическому — как ведающий единицами номинации, заполняющими выбранную синтаксическую схему или же начинающими ее разворачивание и выступающими в качестве толчка к выбору одной из возможных синтаксических схем

данного языка. Ср замечание В. Г. Гака о том, что «при формировании высказывания достаточно определить синтаксическую функцию какого-либо одного слова (нередко первого), чтобы весь остальной синтаксический рисунок предложения явился сразу» [Гак 1973, 364]. Естественно, что такой номинативный компонент гораздо более сложен по своему устройству и функциям, чем это предполагали ранее, сводя весь лексико-семантический план высказывания к выбору или поиску слова. По крайней мере можно предположить, что такой компонент регламентирует использование единиц не только лексикона, но и фразеологии, да и не только готовых единиц номинации, но и правил их создания (следовательно, подчиняет себе словообразование, а отчасти и «малый синтаксис»).

Выше мы уже говорили о том, какими неоднородными единицами номинации располагает этот компонент и какие разные свойства и признаки обнаруживают единицы номинации, разные по своей структуре, составу, протяженности и уровневому статусу. Для того, чтобы представить себе реальный диапазон действия номинативного компонента, надо, следовательно, знать, выражению каких типов языковых значений служит каждая из названных нами единиц номинации и какую сферу личностных смыслов она может обслужить.

В другом виде все сказанное можно было бы попытаться и так. Средства языковой объективации личностных смыслов говорящего могут черпаться из двух универсальных сфер языка: синтаксиса и словаря. Первый предлагает правила вторичного означивания в рамках предикативных единиц, второй — сами единицы первичного означивания. Синтаксис выступает для нас поэтому как система правил, обеспечивающих комбинаторику знаков, начиная с уровня слова, причем комбинаторику знаков, реализующих связи предикативного характера. «Большой синтаксис» занимается не всеми комбинаторными операциями, происходящими в процессе порождения предложения, а лишь теми из них, которые связаны со структурированием пропозиции, т. е. организацией предикатной рамки высказывания и ее распространения, созданием синтаксической схемы высказывания, обладающей предикатом или выступающей в данном языке аналогом коммуникативно завершенной и коммуникативно достаточной единицы. Проще говоря, синтаксис определяет модель предложения, характеризующуюся признаком предикативности (что, как правило, и делает языковую последовательность предложением) либо признаком смысловой завершенности и отдельности.

Словарь выступает как совокупность готовых единиц номинации, хотя и трактуется нами расширительно, поскольку мы полагаем, что в нем на правах самостоятельных единиц должны рассматриваться и последовательности, эквивалентные слову, но превышающие слово по своему формату или линейной протяженности. На долю грамматики (морфологии) приходится тогда прежде всего оформление единиц номинации при их включении в высказывание или же при их создании в виде однословных (универбов) или несколькихсловных единиц номинации. Каждый тип единиц номинации характеризуется «своей» морфологией, отсюда возможное противопоставление морфологии флективной (для класса слов в целом) и морфологии деривационной (для класса производных и сложных слов). И здесь изоморфно противопоставлению предикации и номинации оказывается возможным противопоставить друг другу разные части системы

языка — одну, обслуживающую создание единиц коммуникации (большой синтаксис), и другую, обслуживающую номинативную сферу языка. Внутри этой последней легко выделяются такие специализированные области моделирования вторичных единиц номинации, как словообразование, фразеология [см. подробнее Телия 1981] и, наконец, малый синтаксис.

Главное в речевой деятельности — выполнение коммуникативного, смыслового задания говорящего; речевой акт подчинен выражению определенного смысла и управляется механизмами, которые в системе языка служат так или иначе его передаче. А поскольку всеми такими механизмами ведают семантика, иерархия механизмов, приводимых в движение во время речевой деятельности, определяется типами семантики разных языковых единиц.

Как указывает В. А. Звегинцев, «единицы разных уровней языка, естественно, обладают разными видами семантики, или, как принято говорить, обладают значениями разного порядка» [Звегинцев 1976, 75—76]. Чем выше «порядок» этого значения, тем весомее оказывается его роль в порождении речевого высказывания, и в этом смысле значения сентенциональные, пропозитивные подчиняют себе все остальные типы значения, точно так же, как в организации дискурса ведущими оказываются значения, определяющие его связность, кореферентность и т. д. И хотя в разворачивании речевого высказывания, по нашему мнению, роль толчка и импульса могут выполнять разные языковые единицы, а у каждой из них имеются свои собственные закономерности ее синтагматического распространения, главное для нормальной речи — согласование единиц номинации с выбираемой схемой предложения или, наоборот, схемы предложения с выбираемыми единицами номинации.

Как пишет Н. Д. Арутюнова, «при образовании высказывания приходит в действие несколько функциональных механизмов языка: один из них обеспечивает создание речевой номинации события (если оно не может быть обозначено одним словом), другой имеет своей целью определение [номинацию] темы сообщения и сообщаемого, третий направлен на актуализацию наименования — его соотнесение с ситуацией речи — обозначаемым событием, моментом речи и участниками речевого акта, четвертый выявляет цель коммуникации» [Арутюнова 1972, 270]. В конечном счете перед нами два главных механизма, обеспечивающих выбор (создание) структуры высказывания и выбор (создание) единиц номинации, заполняющих эту структуру.

Выдвинув положение о том, что «выбор структуры высказывания предшествует выбору слов», Н. Д. Арутюнова делает, однако, тут же примечательную оговорку, разъясняя, что в реальном процессе речеобразования «оба выбора взаимообусловлены: выбор слова невозможен безотносительно к конструкции, задающей его синтаксические характеристики... но и выбор конструкции неосуществим без предварительной фиксации лексических элементов, в частности глагола, предопределяющего конфигурацию актантов» [Арутюнова 1972, 290]. Такая взаимообусловленность, несомненно, обязательна, но она может фактически явиться следствием разных процессов: симультанного выбора двух указанных величин или же сукцессивного выбора двух указанных величин, или выбора одной из них до выбора другой. Разные типы организации речевой деятельности и определяются этим обстоятельством: развитие речевого высказывания происходит по-разному

в зависимости от того, из какой сферы языка выбрана ее исходная единица (синтаксиса или словаря), в какой форме она выбрана и какие синтагматические, парадигматические и прочие характеристики связаны с ее языковым статусом. Разматывать цепочку высказывания говорящий может в зависимости от языковых свойств выбранной начальной единицы; ее выбор диктуется смысловым заданием конкретного речевого акта, но, будучи выбранной, она детерминирует далее сочетающиеся с ней единицы и сужает круг возможностей дальнейшего разворачивания высказывания.

Так, француз, начавший высказывание повторением артикля *les...*, *les...* должен употребить вслед за ним существительное во мн. ч. [Pottier 1966, 101], и нередко, как только выбрано подлежащее, предопределен и дальнейший ход высказывания [Slama — Czazacu 1983, 313—314], ибо большинство языков имеет вообще канонические формы развертывания предложения и порядок расположения в нем его отдельных членов (*scapping order*) и т. д. Здесь всего один шаг до признания и того обстоятельства, что огромное количество речевых актов вообще стереотипны и повторяют то, что уже миллионы раз повторялось членами того же языкового коллектива лишь с незначительными модификациями. Это значит, что многие ситуации вызывают у нас тождественные реакции и что языковые формы этих реакций — целые предложения — носят отработанный характер. Их произнесение происходит едва ли не автоматически, в памяти они хранятся, наверно, так же, как отдельное слово, фразеологизмы, т. е. целостные и несобираемые единицы. В обыденной речи в виде готовых образцов воспроизводятся, а не конструируются, не только устоявшиеся единицы номинации, но только штампы отдельных отрезков высказывания, но и целые высказывания. Такие устойчивые стереотипы значительно облегчают общение

Как пишет В. Г. Гак, «человек не может самостоятельно и оригинально перерабатывать все встречающиеся в жизни ситуации... Постепенно у всех членов данного языкового коллектива создаются стереотипные установки, которые определяют единообразный способ членить объективную реальность и те черты, которые воспринимающий в первую очередь замечает в предметах и ситуациях и кладет в основу наименования» [Гак 1973, 37]. Но если оставить в стороне эти стереотипы, высказывание для своего построения требует двух механизмов — синтаксического и номинативного.

Обязательное использование в акте речи единиц из словаря и синтаксиса считалось в традиционной лингвистике само собою разумеющимся. «... Достоинство словаря и грамматики, — подчеркивал, например, Л. В. Щерба, — должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на данном языке» [Щерба 1974, 26]. И синтаксис, и словарь вносят свой вклад в значение предложения — таков был вывод и четвертьвекового развития генеративной грамматики. Но определение удельного веса долей словаря и синтаксиса понималось даже на этом небольшом отрезке истории лингвистики по-разному. Крайние взгляды на этот счет разделялись и тогда, когда пытались вывести значение предложения из суммы значений составляющих его слов, и в том случае, когда полагали, напротив, что глубинная структура предложения есть его синтаксическая структура или же его логическая форма. Вот почему значительным достижением

современной лингвистики оказывается понимание сложности как создания значения предложения, так и его восприятия, понимание значения предложения как интегративного целого — как смысла, реальное содержание которого не столько складывается, сколько формируется на основе значения составляющих его частей и отношений между ними, т. е. формируется, «перерастая» то и другое, взятые по отдельности. Порождение в речевой деятельности понимается поэтому нами в более буквальном смысле, именно как рождение и конструирование нового на основе синтеза старого; оно и не может мыслиться иначе, чем как процесс выбора семантических сущностей из двух сфер языка — синтаксиса и словаря [Степанов 1981; Уфимцева 1984], причем при постоянном их согласовании, а далее, и интеграции единиц из этих сфер в новое целое

Для построения адекватной теории речевой деятельности безразличны поэтому: а) ни порядок выбора и поиска единиц из двух названных сфер, ибо согласование этих единиц проявляет зависимость от формы и семантики единицы, с которой начинается это согласование; б) ни понимание способов и путей согласования единиц словаря с единицами синтаксиса; в) ни необходимое для этого понимание семантических аспектов не только разных единиц номинации с разными для них типами языковых значений, но и семантики синтаксиса, а значит, дифференциация того, что именно в синтаксисе значимо, содержательно, а что — формально (при возможном, правда, полном отрицании такого противопоставления)

Объем книги не позволяет, к сожалению, остановиться более подробно на путях возможного решения каждой из поставленных проблем, и мы остановимся на них, начиная с последней, лишь в той мере, в какой это важно для разъяснения сути развиваемой нами концепции речевой деятельности. Итак, содержательна ли синтаксическая схема высказывания? Вносит ли она лишь упорядочивающее начало в построение предложения, предписывая ему законы рационального линейного расположения слов, или же нечто большее? Оказывается ли такая схема жестким или не жестким регулятором формирующегося высказывания, ограничивая заранее его содержательные возможности? Если для построения системы языка в целом признавать ее телеологические характеристики, то и для построения каждой отдельной языковой единицы, в том числе и предложения, надо признать основополагающими такие принципы организации этих единиц, которые обуславливаются осуществляемой с их помощью деятельностью. Прагматические основы деятельности таковы, что в ней должны быть сбалансированы возможности сочетать старый опыт с новым, моделируемое, предсказуемое — с немоделируемым, непредсказуемым. Языковая единица должна быть достаточно определенной и устойчивой, чтобы обеспечить взаимопонимание, а в то же время — достаточно гибкой и подвижной, чтобы обеспечить передачу новых смыслов. Для каждой единицы определен поэтому своеобразный диапазон инвариантного и, напротив, вариантного, предел изменчивости в заданных границах тождества единицы самой себе. Изоморфны все языковые единицы двустороннего характера именно потому, что каждый тип единиц проявляет свой собственный способ соотношения ее формы с ее содержанием, который можно было бы назвать принципом моделируемой асимметрии знака. Каждый знак существует как особое единство «тела» знака и его содержания, формы и значения, ибо будучи неразрывным по существу, оно обладает свойством подвижности в ту или другую сторону, причем

пределы этой подвижности обычно хотя и не строго, не жестко, но все-таки фиксированы.

Если синтаксическая схема предложения может быть рассмотрена как единица языка, а это, несомненно, так, ее семантические характеристики и ее тектоническая организация должны быть каким-то образом увязаны и согласованы. Думается поэтому, что каждая тектоническая (формальная) организация синтаксического порядка (модель предложения) служит для выражения ею достаточно общего, но в то же время и достаточно определенного содержания. Синтаксическая схема значима в том отношении, что позволяет выразить некий круг допустимых значений, с одной стороны, и что кладет явные ограничения на передачу иных, с другой

Выбирая ту или иную синтаксическую структуру, говорящий выбирает тем самым русло потока речи. В выборе этой конструкции он уже сделал содержательный шаг в расчленении описываемой ситуации, в установлении своего отношения к происходящему и его участникам, в определении их ролей и т. д. — он принял определенное решение относительно способа представления ситуации.

Изложенная точка зрения не противоречит выделению логико-синтаксических начал, которые, по Н. Д. Арутюновой, ложатся в основу выделения предложений разных типов и определяют их содержательные характеристики [Арутюнова 1976], но она может быть согласована и с другими подходами к предложению, в которых форма предложения (его синтаксическая структура) соотносится с содержательными возможностями данного построения. Да и вообще: с развиваемой точки зрения сама возможность выделения семантических типов предложения рассматривается как доказательство существования известных принципов конгруентности форм синтаксических конструкций (их тектоники) с их языковым значением. О наличии такой связи писали все ведущие синтаксисты.

Так, например, Н. Ю. Шведова подчеркивает, что «грамматическая организация предложения.. уже сама по себе является фактором, небезразличным для семантической структуры построенного по этой схеме предложения» [Шведова 1973, 461; ср. также Звегинцев 1976, 134 и сл. и мн. др.]. О понимании типа предложения как одного из «устойчивых способов организации смысла» см. также у И. П. Сусова [Сусов 1980, 34]. Проще говоря, в предложение определенного типа вкладывается, как правило, и определенный смысл; для каждой синтаксической конструкции есть типичные для нее значения, благодаря чему верно и обратное: от определенного смысла (группы смыслов) есть некая каноническая форма перехода к его языковому представлению; типы повторяющихся смыслов рождают типы объективирующих их конструкций и диктуют использование этих последних в известных типизированных ситуациях, см. также [Бондарко 1984].

Соответственно этой точке зрения считается, что линейное развертывание речи по принятой схеме составляет часть семантической программы высказывания, обеспечиваемой синтаксисом. Тектоника складывающегося высказывания — следствие того, как увидел ситуацию говорящий и как он ее членит, это часть речевого акта, органично входящая в его состав и подчиненная законам распределения смыслов по разным языковым единицам, а потому — законам семантики

В предлагаемой ниже модели порождения речи учитывается, однако,

не только рассмотренная сторона синтаксиса как вносящего свой вклад в формирование смысла предложения, но постулируется также особое направление порождающего процесса. Не лишне в связи с этим напомнить о том, что в разных версиях порождающей грамматики были выдвинуты разные точки зрения на векторную характеристику движения процесса речи. Для представителей интерпретативной семантики в лице сторонников так называемой расширенной стандартной теории порождающий процесс мыслился как направленный от синтаксиса к семантике, поскольку работа синтаксического компонента грамматики, порождающего глубинную структуру предложения, считалась предшествующей работе семантического компонента, интерпретирующего сложившуюся глубинную структуру [Соболева 1976, 76 и сл.]. Приписывание значения данному анализируемому предложению совершалось в конечном счете через приписывание (с помощью особых проекционных правил) значений отдельным лексическим единицам, включенным в состав предложения. Эти значения брались из особого словаря, где каждой лексической единице был поставлен в соответствие набор характеризующих ее семантических признаков и семантических различителей [Катц 1972]. Интересно также, что если интерпретации на первых порах подвергалась поверхностная структура предложения, далее это было признано нелогичным, поскольку, по определению, трансформационные операции не меняют исходного смысла предложения, и, значит, совершенно с теми же последствиями можно было начинать «прочтение» предложения непосредственно с синтаксической (глубинной) структуры. Такое представление отражало взгляды интерпретативистов на определенное соотношение глубинных и поверхностных структур, а именно: в поверхностной структуре не может содержаться семантической информации, помимо той, которая уже наличествовала в глубинной [ср. Fodor Janet 1980, 64]. Но это значит, что по мере своего конструирования смысл предложения уже не может развиваться и обогащаться и что фонологизация, озвучивание и т. д. (прежде всего — интонация) не вносят в значение предложения ничего нового, что явно противоречит фактам. Ясно также, что предложенная модель не пригодна для описания обычно и нормально протекающей речевой деятельности, в которой смутный замысел отнюдь не равносителен ни по строению, ни по содержанию реализующему его высказыванию. В принципе развертывания высказывания «от синтаксиса → к семантике» мы никак не усматриваем постоянного или универсального принципа речевой деятельности. В целом, следовательно, критическое рассмотрение этого направления порождающего процесса показывает его односторонний характер и его неприемлемость в качестве основы модели «с позиции говорящего». Или человек продолжает думать во время произнесения цепочки высказываний, и тогда он может прекращать начатое предложение, изменять его план, добавлять к нему новые куски, вызванные новыми соображениями, или же мысль рождается в готовом виде до речи, а речь выступает лишь как ее одеяние. Если правильно первое, глубинная структура не может существовать как тождественная поверхностной; трансформации меняют смысл предложения, а эквивалентность указанных структур становится типичной лишь для обдумываемой заранее и фиксируемой письменно речи. Одновременность же процесса говорения с обдумыванием часто вполне очевидна — особенно при исправлениях начатого текста и деформациях высказывания [ср. Горелов 1980, 64 и сл.].

В рамках течения, получившего название порождающей семантики, направление порождающего процесса мыслилось по-другому, как идущее от семантики к синтаксису. Принимая это положение, мы, однако, следуем отнюдь не генеративной традиции как таковой, поскольку: а) именно такое направление было принято в советской психологической школе (для чего мы и рассмотрели выше подробно ее теоретические установки) и б) «модели порождающей семантики (в силу абстрактного и непосредственно не поддающегося наблюдению характера семантических категорий) нередко переходят границу объективно доказуемого и «витают» в сфере чисто умозрительных построений, порой перерастающих в совершенно произвольные утверждения и домыслы» [Бархударов 1976, 29].

Думается к тому же, что при всей резкости полемики, маркировавшей отношение между двумя лагерями генеративной грамматики, на деле в их рассуждениях обнаруживается весьма много общего. Так, защищая положение о движении порождающего процесса от семантики к синтаксису, представители порождающей семантики отождествляли смысловые представления предложения с логической формой предложения. Нетрудно показать, однако, что предикатно-аргументная запись такой логической формы предстает на следующих уровнях абстракции в виде тех же синтаксических деревьев. И хотя их «ветвление» изображается не совсем тождественно и лексика вставляется в другие узлы, общие принципы синтаксического разворачивания предложения здесь несомненны. Не случайно расхождения между названными лагерями расценивались «со стороны» прежде всего как расхождения нотационного порядка, т. е. как различия в правилах семантической записи, в процедуре и форме семантического анализа, а не в его результатах по существу.

Ставя точки над «и», надо высказать и еще одно соображение, существенное, как кажется, для общей оценки моделей порождения, предложенных в рамках генеративного направления. В понимании соотношения семантики и синтаксиса здесь были выдвинуты две, казалось бы, прямо противоположные гипотезы. Одна была связана с теорией так называемого автономного синтаксиса как полностью освобожденного от значения и потому независимого от семантики. Другая, напротив, была связана с теорией так называемого семантического синтаксиса, в рамках которой каждой синтаксической операции и каждой синтаксической схеме приписывалось определенное значение. Но ни полное разведение семантики и синтаксиса в разные стороны, ни противоположное этому полное отождествление того и другого не соответствует ни эмпирическим наблюдениям, ни интуитивной оценке имеющей место ситуации. Если синтаксис абсолютно автономен, то как объяснить факты изменения значения при изменении синтаксической схемы предложения (например, порядка следования элементов высказывания)? Если синтаксис свободен от значения, как совместить это с утверждениями о том, что смысл высказывания складывается в результате установления определенных синтаксических отношений между его отдельными частями? Если же синтаксис и семантика одно и то же, представить ли глубинную структуру в виде синтаксической схемы или же в виде семантической записи составляющих ее элементов оказывается безразличным, т. е. делом именно семантического представления, нотации. Как иронически замечает Р. Ружичка, проблему, которая заключалась как раз в том, чтобы продемонстрировать сложный характер связей между уровнем синтаксиса и уровнем семантики, «порождающая семантика

”решала” за счет того, что устраняла вопрос об этих связях» [Růžička 1983, 16], т. е. снимала проблему как таковую.

Если б правильна была одна теория, правильно было бы «заключение о том, что семантические и синтаксические правила никогда не перекрещиваются; если б правильной была другая, правила семантики и синтаксиса оказались бы тождественными по определению, хотя их и можно было б формулировать по-разному, начиная «от синтаксиса» или же «от семантики» [Seuren 1972, 254 и сл.]. Однако истина лежит где-то посередине, т. е. семантические и синтаксические правила скорее перекрещиваются, взаимодействуют и определяются разной мерой их взаимообусловленности. Но уже это, казалось бы, половинчатое решение имеет по крайней мере то преимущество, что позволяет рассматривать синтаксическую организацию предложения под определенным углом зрения, а именно, задавая вопрос о том, потребностью выражения какого значения она была вызвана к жизни и использована говорящим в его речевой деятельности. Вот почему, неприемлемой в конечном счете оказывается для нас и модель, предложенная представителями порождающей семантики: путь от семантики к синтаксису мы постулируем опять-таки не как дорогу от «готовой семантики», с одной стороны, и отнюдь не к одному синтаксису, с другой. Путь от замысла к речевому высказыванию рисуется поэтому нами как путь от личностного смысла к воплощению его в языковые значения через распределение этих значений по языковым формам, специально предназначенным для их выражения. Порождение речи — это акты подведения исходных и далее развивающихся и обогащающихся значений под отработанные веками в данной языковой системе языковые единицы из двух универсальных сфер: синтаксиса и словаря.

Если с содержательной точки зрения акт речи выливается в речевое высказывание (цепочку высказываний), а значение его сводимо в конечном счете к значениям составляющих его слов, демонстрирующих к тому же определенные типы отношений между ними, то вернуться к истокам значения предложения значит вернуться к значениям слов и к определению семантики схемы связей между ними. Каждое из таких «возвращений» имеет свою специфику, но особенно сложен вопрос о типах отношений, реально наблюдаемых в предложении, а значит, и на каком-то этапе речевой деятельности «задумываемых» говорящим. Принципиальная разнородность, гетерогенность этих отношений заключается, по-видимому, в том, что одни из них направлены на создание остова предложения, а другие — на создание его отдельных развернутых компонентов, одни отражают понимание и виденье ситуации как таковой, другие — внутреннего строения отдельных объектов ситуации. Можно сказать в связи с этим, что в синтаксисе находят фиксацию одни типы отношений, а в единицах номинации (особенно не холистических, а расчлененных) — другие, да и отражение этих разных типов отношений преследует разные цели. В синтаксисе отношения, фиксируемые в пропозиции (обычно — между субъектом — действием — объектом и т. д.), служат изображению ситуации, ее анализу, ее характеристике и ее членению; в сфере номинации отношения (внутри единиц номинации) служат обозначению объекта и его выделению в качестве целого. Ниже мы постараемся описать подробнее эту сторону речевой деятельности, полагая, что если вклад слова в предложение уже получал неоднократно освещение в работах многочисленных исследователей и даже экспериментах психологов, вклад

типов отношений между словами внутри предложения описывался прежде всего с формальной точки зрения, по его синтаксическому (тектоническому) устройству.

Лишь предикативная связь в пределах предложения была постоянно в поле зрения лингвистов, поскольку по единодушному мнению большинства ученых предложение создается главным образом актом предикирования, «актом, посредством которого предмету мысли и сообщения (т. е. коммуникативному субъекту) приписывается то, что о нем мыслится и сообщается (коммуникативный предикат)» [Сусов 1980, 26, ср., однако, Звегинцев 1976, 58 и сл.]. Не вызывает сомнения, что кардинальным типом синтаксических связей оказываются те, которые служат предикации. Предикационная структура, или актуальная пропозиция, формируется в ходе установления базовых для всего предложения пропозициональных или синтаксических связей. Синтаксическая схема предложения создается а) в ходе формирования пропозиции как ее основы и б) развертывания и уточнения одного или другого члена пропозиции или того и другого одновременно. Созданием таких схем и соответственно их описанием ведает «большой синтаксис», в ведение которого, естественно, входят далее и принципы последовательного расположения предложений в тексте, и их согласования в организационном плане и в целях создания связного текста.

Большой синтаксис представляет в распоряжение говорящего правила моделирования тектоники и семантики предложения как основной единицы в речевой деятельности: синтаксическая (пропозициональная) схема предложения известна говорящему вместе с ее смыслом, который задается понятиями предикатно-аргументной логики. При описании ситуации и события говорящий членит их соответственно собственному восприятию происходящего, вследствие чего факт актуального членения будущего предложения определяется вместе с формированием пропозиции. Пропозиция содержит в себе не только зародыш будущей субъектно-объектной схемы предложения, но и ее тема-рематического членения.

Большой синтаксис, синтаксис синтаксически-сентенциальный, можно противопоставить «малому», несентенциальному, занимающемуся организацией синтаксических групп (синтагм) внутри предложения, т. е. групп, служащих реализации отдельных членов пропозиции, но не являющихся в то же время *embedded sentences*, т. е. включенными предложениями. Малый синтаксис связан с характеристикой несентенциальных, непредикативных типов отношений (ср. традиционные понятия управления, согласования и примыкания); в его компетенцию входят атрибутивные отношения между именем и его определителем (или же между глаголом и его признаком), предложные отношения в предложных оборотах и т. д. Он занимается типами связей внутри непредикативных синтагм (или, возможно, внутри синтагм, предикативных связи между членами которых существуют лишь в виде скрытой, или латентной, предикации). В самом общем виде можно сказать, что малый синтаксис — это синтаксис словосочетаний¹, когда основной целью создания словосочетания является номинативная (*у того большого дома; за рекой; быстрая и опасная река; вечером полудни* и т. д.). Номинативные блоки предложения распределяются в нем соответственно его актуальному членению, вслед-

¹ О статусе словосочетаний в дискурсе см подробно [Звегинцев 1976, 133 и сл.].

ствие чего можно говорить о тематических или же рематических номинативных блоках. В предельном случае такой номинативный блок выступает как тождественный слову, но цельной единицей номинации может оказаться, естественно, и развернутый номинативный блок, представленный тем или иным словосочетанием (несколькословной номинацией). В качестве лексических заполнителей синтаксической схемы предложения надо, следовательно, рассматривать не слова как таковые, а номинативные блоки. Последние же могут быть представлены словосочетаниями разных типов, разной структуры и разной протяженности. Их изучение с тектонической точки зрения — сфера малого синтаксиса, но опять-таки, поскольку в определенную форму выливается определенное содержание, говорящий усваивает правила построения словосочетаний и как правила создания неких расчлененных единиц номинации.

Подытоживая все сказанное, можно прибавить, что из синтаксического компонента говорящий черпает сведения о правилах обозначения, а из словарного — готовые обозначения. Теперь можно уточнить и вопрос о природе этих правил. Большой синтаксис предоставляет правила организации предложения и высказывания, малый — правила организации отдельных номинативных блоков как членов предложения, как тех компонентов предложения, которые занимают в схеме предложения определенную синтаксическую позицию. Но в свете изложенного по-новому может быть оценено и соотношение словообразования и синтаксиса. Если признавать словообразование той специальной областью системы языка (а в динамическом, процессуальном отношении — специальной областью и речевой деятельности), которая связана с регулярным моделированием вторичных единиц номинации со статусом слова, в этой области следует различать одни правила как обусловленные влиянием большого синтаксиса и другие — влиянием малого синтаксиса. Правила соединения знаков, которые существуют в словообразовании, в принципе выходят в синтаксис именно как правила комбинаторики знаков. С другой стороны, подобные деривационные правила, приводя в итоге к созданию универбов, проявляют несомненную зависимость от тех требований, которые предъявляются в данном языке к грамматическому оформлению слова.

Правила большого синтаксиса (организации предложения) преломляются на уровне словообразования как правила субституции предложения (единицы с внешне выраженной предикативностью) другим наименованием — словом с латентной, внутренней предикативностью (ср. *он приехал* → *его приезд*; *он учится в школе* → *он школьник*; *он чистит трубы* → *он трубо-чист* и т. д.). Правила номинализации, таким образом, по истокам своим синтаксичны, а сами номинализации могут, с одной стороны, служить доказательством наличия у предложения номинативного аспекта, а с другой — выявлять его в виде определенного обозначения, созданного проекцией предикативных связей в синтаксической конструкции — производное или же сложное слово, т. е. единицу другого уровня и формата. Уже это демонстрирует тесную связь предикации с номинацией и возможность использования первой в номинативных целях.

Правила малого синтаксиса тоже играют значительную роль в словообразовании (ср. *маленький дом* → *домик*, *зеленый как трава* → англ. *grass-green*; 'обрамленный деревьями' — ср. англ. *tree-lined* и т. д.), благодаря чему можно утверждать, что между синтаксисом и номинацией тоже нет жестких

границ, ибо сфера словообразования демонстрирует как раз на создании системы номинации, где и как они стыкуются друг с другом. Можно говорить поэтому о том, что каждый раз, когда речь идет о создании новых единиц номинации, мы обращаемся к синтаксису и используем взятое отсюда то или иное деривационное правило, модель образования необходимой единицы. Из словаря берутся только готовые единицы, все же, что строится, конструируется и т. д., требует обращения к синтаксису. Синтаксис речевой деятельности — это мобильная система правил, ведущая к появлению единиц разного назначения и разной структуры. Изложенные в настоящем параграфе общие принципы позволяют пересмотреть существующие модели порождения речи и выдвинуть видоизмененную схему протекания речевой деятельности, а в итоге — установить уже на ее основе разные типы возможной организации речевой деятельности.

2. СЕМАНТИКА И ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ КАК КОМПОНЕНТОВ МЫСЛИ ПО ЯЗЫКОВЫМ ЕДИНИЦАМ РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ

Как мы хотели продемонстрировать этой книгой, объединенные усилия ученых разных специальностей были уже давно направлены на то, «чтобы разложить единицы и непрерывный поток речи на его составные элементы и подойти к некоторым существенным механизмам речевых процессов» [Лурия 1968, 199]. Но в нормальном высказывании все стороны речевого процесса оказались столь слитыми и нерасчлененными, что «выделить их составные компоненты и найти лежащие за ними факторы подчас не представляется возможным» [там же]. Выходом из этого положения стали считать поиски окольных путей исследования речевой деятельности — наблюдения за речью ребенка, анализ деятельности переводчика, наконец, изучение патологии речи. По крупицам накапливали материал, который мог бы пролить свет на поставленную проблему, и обобщение всего этого материала еще не осуществлено. Но мы пошли в поисках истины другим — лингвистическим — путем, полагая, что известные данные о речевой деятельности можно извлечь и наблюдая за тем, как человек говорит и какие именно лингвистические единицы строит и использует в ходе этой деятельности. Многое здесь неизбежно основано на догадке и предположениях, многое поэтому и недоказуемо. В то же время лингвистический путь исследования позволил нам отправляться от тех положений, которые казались нам оправдавшими себя в теории языка и которые здесь уже принесли свои плодотворные результаты.

Так, предлагая общую схему разворачивания речевой деятельности, в которой главным дирижером в процессе «исполнения речи» является семантика, мы руководствовались пониманием ее определяющей роли и в системе языка, т. е. разделяли мнение тех лингвистов, которые, подобно У. Чейфу, полагали, что «ядром адекватной теории языка должна быть адекватная теория семантической структуры» [Чейф 1971, 24], и которые, подобно В. А. Звегинцеву, были убеждены в том, что «если язык есть система средств для передачи в процессе речевого общения некоторого содержания, то эта система организуется в о к р у г з н а ч е н и я» (подчеркнуто мною. — Е. К.) [Звегинцев 1976, 114].

Точно так же, строя догадки о том, как может быть организована речевая деятельность «вокруг значения», мы использовали все то, что было известно к настоящему времени о категории значения в психологии речи и лингвистике и что могло подсказать нам некоторые соображения о способах и особенностях его формирования в единицах разного уровня и разного генезиса. В свою очередь, знание нетождественности чисто лингвистических свойств главных единиц языка — слова и предложения — позволило предположить нетождественность их ролей в порождении речевого высказывания и поставить вопрос о их функциях в речевой деятельности и т. д.

Достижения современной лингвистики позволили нам предположить, что протекание речевой деятельности, которое некогда изображалось Л. С. Выготским как путь от мысли к слову, следует описывать скорее как путь от мысли к высказыванию через ступень слова (номинации) или же пропозиции (предикации), т. е. как путь, реальная форма которого определяется либо симультанным согласованием номинации и предикации, либо, напротив, вступлением в действие одного из этих феноменов с опережением другого. Основания для такого представления процесса речевой деятельности, подробно освещенные в предыдущих разделах книги и вызвавшие критику моделей порождения речи, выдвинутых на предыдущих этапах развития нашей науки, связаны также с некоторыми данными, полученными при анализе нарушений речи. Хочется отметить по этой причине, что сама мысль об известном противопоставлении синтаксиса (предикирования) и процессов номинации в речевой деятельности была навеяна прежде всего новаторскими работами А. А. Лурия и Л. С. Цветковой по афазииологии [Лурия 1968; Лурия и Цветкова 1968], убедительно доказавшими возможность поражения, как они говорили, номинативной функции отдельно от предикативной, а также разные последствия этих нарушений для протекания речи. Думается, что эти работы свидетельствуют о том, что при речеобразовании у человека действуют два хотя и взаимосвязанных, но в конечном счете разных механизма речи: один, ответственный за наличие у говорящего определенной совокупности наименований, извлечение их из памяти и обеспечение выполнения говорящим номинативной функции, и другой, ответственный за линейное развертывание речи по определенной синтаксической схеме и за установление в формирующемся высказывании предикативных связей.

В патологических случаях может быть нарушена либо одна, либо другая функция (механизм). Так, больные с динамической афазией не могут создать схемы, нужной для развернутого речевого высказывания даже если им известны слова, из которых высказывание должно быть построено: они демонстрируют нарушения в механизме синтаксирования. Больные «вместо развернутого высказывания дают цепь отдельных обозначений. «Вот... фронт... и вот... наступление... вот... взрыв...» и т. д.» [Рябова, Штерн 1968, 79]. Такой «телеграфный стиль» аграмматичен; в своем неполном владении речью больные более опираются на лексику; присутствие в их речи одних нормальных номинаций, лишая речь связности, не делает вместе с тем ее абсолютно непонятной.

Но если у больных нарушены способности к номинации, подыскивание подходящих слов затруднено, они вообще не могут построить никакого понятного высказывания. Отчетливо представляя себе, что они хотят сказать, они не могут найти нужного слова, в связи с чем их речь становится бес-

предметной; ср. приведенные А. Р. Лурия цепочки типа «Ну вот... это... ведь я знаю... эх... ну вот...» и т. д. [Лурия 1979].

Нарушение номинативной функции может иметь и другие последствия: человек строит синтаксически «правильное», но абсолютно невразумительное высказывание; акта номинации, заключающегося в установлении референтной связи между объектом и его привычным обозначением, попросту не происходит.

Выдвинув предположение о том, что поражение аппарата, связанного с построением синтаксического целого, вызвано невозможностью установить предикативные отношения, афазиологи провели серию экспериментов, относящихся к нахождению наименований действий и предметов. Если предикат чаще всего обозначен глаголом, должны страдать именно глагольные названия. В опыте этот факт нашел свое полное подтверждение: нахождение больными с динамической афазией названий действий примерно в четыре раза было более затруднительным, чем нахождение названий предметов [Лурия, Цветкова 1968, 222].

На основании этих опытов можно показать также, почему, собственно, одной номинативной функции для порождения речи оказывается недостаточно: у говорящего теряется возможность показать иерархию слов и их связи. Так, даже тогда, когда глаголы в речи афатиков продолжают выполнять свою номинативную функцию, т. е. правильно называют те или иные действия, они, выступая только как имена и наряду с именем предметов (субъект или объект), не могут стать структурными организаторами высказывания («Девочка... книга... читать...») и показать реальную связь его членов [Рябова, Штерн 1968, 93].

Чтобы речь была нормальной, механизмы номинации и предикации должны работать оба: семантика должна регулировать и то, и другое.

В подготовке высказывания должны быть активизированы поэтому оба этих механизма, что предопределяет общее направление процесса порождения речи как протекающего от семантики по двум разным руслам — синтаксическому и номинативному, — которые в одних типах речи сразу сливаются в единый поток, но в других до того, как согласовать действие своих механизмов, следуют каждое своим собственным путем.

Такая модель порождения речи предполагает сложное действие и взаимодействие разных речевых механизмов и разных речевых операций, но прежде всего — механизма номинации, существующего тоже в двух главных видах: одного, который извлекает единицы номинации из памяти в готовом виде, и другого, который создает эти единицы по правилам данного языка. Так, когда больные с амнезией не могут вспомнить слова, они заменяют его функциональным описанием («дай, на чего сяду», «где, чем писать» и т. д. [Горелов 1974, 95]). В каком-то смысле можно поэтому полагать, что механизм номинации примарен, и при его полном разрушении речь невозможна.

Напротив, речь «от найденного обозначения» вполне возможна даже тогда, когда синтаксис еще не определился и только начинает формироваться в тот момент, когда первое обозначение уже произнесено, озвучено (подробнее см. ниже). По мысли Е. М. Верещагина, паузы в речи могут соответствовать «невербальным мыслительным операциям», «лонским формы» [Верещагин 1969]; можно, однако, предположить, что они свидетельствуют о том, что обозначение уже найдено, но в какую синтаксическую конструк-

цию его рациональнее всего поместить, неясно, и для ее нахождения и требуется определенное время.

Акты номинации связаны более непосредственно с семантикой, чем поиски синтаксической конструкции: одну и ту же мысль можно облечь в самые разные синтаксические формы, но некоторые фрагменты мира трудно назвать (если мы хотим, чтобы их тут же идентифицировал слушающий) иначе, чем его общепринятым термином; по-видимому, выбор и поиск слова — более простая речевая операция, чем построение синтаксической конструкции. Недаром в обычной речи преобладают очень простые типы предложений с каноническим расположением субъекта, действия и объекта и т. д.

Роль семантики по отношению к механизмам номинации и предикации не вполне поэтому тождественна, хотя она вступает в игру с момента формирования личностных смыслов и должна здесь «разнести» разные группы смыслов по разным языковым единицам в зависимости от того, что, так сказать, «топикализирует» или акцентирует сам говорящий: предмет речи, его признак или же тип отношений между ними. Выбор им одного из возможных путей разворачивания речи — следствие того, что находится в фокусе его внимания, на чем остановилась его мысль, т. е. следствие его установки и сформированного к тому времени смысла.

Творческое начало (в самой речи) заключено, следовательно, уже у ее истоков в том, что как только сознание пробуждено и нацелено на речь, говорящий сталкивается с необходимостью выбора речевых средств, он постоянно на развилке и должен выбрать от нее свою дорогу, причем число этих развилок может быть меньшим или большим (см. схему). В принятии оптимального решения человек и может проявить способность к лингвокреативному мышлению [Серебренников 1983, 106], когда преодолевая чисто языковые барьеры, он ломает установившиеся нормы и традиции, отходит от аналогии, создает новые формы и неожиданные сочетания. Хочется подчеркнуть, что хотя в процессе речи главное — передача сообщений, т. е. выражение личностного смысла, творчество как таковое может относиться непосредственно к формируемому смыслу, но может — и к его речевой объективации. Порождающая грамматика не в состоянии была справиться именно с этим аспектом речи, и хочется отметить, что некорректной была с самого начала та постановка проблемы, которая характеризовала все генеративное направление в этом вопросе, задавшееся целью определить конечное число рекурсивно повторяющихся предложений и конечное число образующих их символов.

Реальная речевая деятельность показывает: а) невозможность определить конечную длину отдельного высказывания в дискурсе (ведь к любому из них может быть добавлено еще нечто); б) невозможность задать конечным списком все типы высказываний (как сентенциональные, так и несентенциональные), и не случайно все построения генеративистов разрушались постепенно по мере привлечения к этим исследованиям все большего количества эмпирических данных. Реальная речевая деятельность представляет собой некий континуум, на одном полюсе которого стереотипная, клишированная и почти автоматическая совершаемая речь, для описания которой, возможно, и достаточно небольшого аппарата с небольшим типом конструкций и единиц. Зато на другом полюсе этой деятельности — новаторство, творчество, выходы за установленные барьеры, создание неологизмов и т. д. Адекватная теория речевой деятельности должна поставить вопросы о том,

в чем истоки творчества (именно в лингвистическом понимании, естественно, хотя анализ этой проблемы может, на наш взгляд, пролить свет и на многие особенности теории познания и даже открытий) и к каким этапам речевой деятельности они могут относиться, т. е. каково их место в структуре речевой деятельности. С лингвистической точки зрения это вопрос о том, как подготавливается в голове человека то содержание, которое затем станет предметом речи, и как оно членится в конечном счете на элементы «лингвистически определяемые» — вопрос о природе и форме личностного смысла.

Вдобавок ко всему тому, что мы уже говорили выше о личностном смысле, хочется отметить еще одно важное обстоятельство, касающееся соотношения категорий (понятий) личностного смысла, речевого акта и предложения (высказывания). Нередко утверждают, что предложение создается выражением законченной мысли, и в каких-то предельных случаях это, конечно, так. Но в свете анализа речевой деятельности и рассмотрения речевого акта как его отдельной единицы соотношение всех указанных понятий можно представить и по-иному.

Так, можно полагать, что предложение — это то, что создано говорящим как некое целое, выражающее не столько законченную мысль, как об этом любят говорить, но как определенную часть мысли, целостную и завершенную лишь по отношению ко всему замысленному тексту, который именно как глобальное целое должен выразить мысль говорящего. Мысль, чтобы быть развернутой в дискурсе и развиваться, формироваться в речевом акте, должна быть разбита предварительно на отдельные дискретные части — смыслы, подобно тому, как ситуация, которую отражает и описывает человек, должна быть для ее объективации языковыми средствами расчленена и представлена некими дискретными сущностями. Смыслы, согласно этой точке зрения, — это часть мысли, препарированной и приготовленной для того, чтобы стать речью. Предложение — это в первую очередь особая единица речевого акта, отдельность которой обнаруживается, как, впрочем, и ее смысловая завершенность, только по отношению к дискурсу, «сверху» [ср. Звегинцев 1976, 142 и др.]. Дифференциация синтаксических единиц на высказывания (в речи) и предложения (модели высказывания) в речевой деятельности кажется нам не обязательной, здесь имеет смысл противопоставлять лишь сентенциальные и несентенциальные высказывания, полагая, что в разговорной и быденной речи не случайно очень много именно последних.

Объясняя появление несентенциальных высказываний в речи афатиков и решительное преобладание в ней этих типов предложений, Т. В. Рябова и А. С. Штерн пишут: «Почему же больные динамической афазией предпочитают несентенциальные высказывания? Мы думаем потому, что сентенциальные высказывания необходимо строить каждый раз заново, тогда как несентенциальные высказывания, видимо, не требуют такого построения, они идут по формуле «стимул — моторная реакция», без промежуточных этапов создания замысла, его семантического и грамматического оформления» [Рябова, Штерн 1968, 95]. Это весьма тонкий и правильный диагноз не только патологически, но и нормально протекающей речи. Более того. Это и своеобразный ключ к решению проблемы творчества: речевой акт в целом строится заново. Именно как целое (а не по отдельным частям, которые имеют тенденцию повторяться) он «сотворен» говорящим. Речевой акт редко состоит из одного предложения; мысль редко может быть выражена во всей ее полноте одним предложением. В силу законов чело-

веческого мышления, утверждает Г. В. Колшанский, специфика коммуникации такова, что из всей совокупности признаков предмета выделяется лишь один признак, необходимый для реализации коммуникативного намерения говорящего или пишущего в данной ситуации [Колшанский 1974, 86]. Но сказанное имеет свою силу относительно предложения, а не применительно к речевому акту. Это предложение может выделить или описать один признак объекта, но, как правило, для коммуникации этого как раз недостаточно. Обычнее — цепочки высказываний, не суждение как таковое, а рассуждение на тему. Инициальное высказывание речевого акта начинает такое рассуждение, оно само выступает в речевом акте в функции интродуктивной, т. е. обладает функциональной нагрузкой, большей, чем у последовательно связанных с ним дальнейших высказываний. Ведь по отношению к нему регламентируются далее смена тем и рем, явления кореференции, связность и логичность изложения и т. д.

Изучение речевой деятельности в полном ее масштабе требовало бы поэтому детальной характеристики разных речевых актов, их классификации по структуре их проведения и т. д. Но мы, ставя проблему номинации в речевой деятельности и сосредотачивая свое внимание на самых сложных для анализа всей речевой деятельности фазах — фазах ее инициации, — можем в настоящем исследовании ограничиться рассмотрением того, как рождается в процессе речи ее первое высказывание. Наша цель поэтому — разобраться посылно в том, что предвещает произнесение (написание) инициального для всего речевого акта высказывания и даже уже — начинающее его первое слово.

В качестве обычно называемых этапов речевой деятельности выступают, как правило, этапы внутренней и внешней речи [ср. Норман 1983, 41]. Как, однако, следует из всего описанного нами ранее, в протекании речевой деятельности целесообразнее выделять превербальные и вербальные этапы и лишь затем дифференцировать уже внутри вербального этапа как такового внутреннюю, а затем внешнюю речь. Признание превербальных (долокутивных и дословесных) этапов речевой деятельности, каким бы парадоксальным оно ни выглядело, означает лишь одно, что мысль в своем зародыше (та самая мысль, которая составляет основу будущей речевой деятельности) может быть авербальной, т. е. никак не облеченной ни в какие языковые формы и выраженной глобально, нерасчлененно, холистически в виде своеобразного гештальта на «языке» образом, предметно-схематическом. В этом виде она представляет собой некое образование, природа которого еще неясна, но невербальный характер которого подчеркнывался не раз выдающимися мыслителями (физиками, математиками, шахматистами). Решая сложнейшие интеллектуальные проблемы, эти ученые единогласно утверждали, что они оперировали некими представлениями, но отнюдь не словами.

Лишь при сознательной установке на то, чтобы рассказать нечто другому человеку, мысль облекается в языковую форму, и чтобы предстать уже в новом качестве, в виде суждения, высказывания, она претерпевает еще одно видоизменение, рождая личностный смысл будущего речевого высказывания. Из мысли надо как бы выбрать то, что затем войдет в речь, то, что в мозгу человека существует диффузно, должно быть упорядочено, и, наверно, этот процесс упорядочивания можно уподобить рождению кристалла

Семантика вступает в свое действие на этапе согласования личностного смысла с языковыми значениями, связывая одни смыслы с координатами

и опорными точками описываемой ситуации, а другие — с отношениями между ними. Как прекрасно сказал В. Скаличка, «предложение не способно передать бесконечную сложность единичной ситуации — оно может только указать (при помощи слов) ее опорные точки» [Skalička 1948, 35]. Определяя смысл будущего высказывания, человек и должен выделить эти опорные точки «при помощи слов», т. е. их номинаций.

Во внутренней ли речи (в виде «внутреннего слова») или во внешней — сразу и непосредственно — этап превращения мысли в единицу речи проходит обязательно этап номинации. А поскольку выбор единицы номинации всегда согласуется с ее структурно-семантическими особенностями, в порождении речевого высказывания важную роль играет, на наш взгляд, не только формирование личностного смысла, но и «привязка» его частей к тем или иным единицам номинации. Сгустки смыслов, получая обозначение, группируются, и, напротив, при группировке смыслов в некие их пучки автоматически учитываются знания, хранящиеся в памяти человека, о том, какие группировки смыслов уже имеют в данном языке свое привычное обозначение и выражение. Смыслы «подводятся» под знакомые обозначения, а если таковых не находится, для них создаются новые.

Многие исследователи, начиная с Л. В. Щербы, уже подчеркивали, что процессы речевой деятельности активны: они создают речевые тексты [см. подробнее Кацнельсон 1972, 100 и сл.]. Внешний процесс соединения слов отражает при этом внутренний процесс формирования смыслов, в результате которого получается «не сумма смыслов, а новые смыслы» [Щерба 1974, 24]. Но «о том, каким образом могут быть реконструированы процессы речевой деятельности, Щерба не говорит» [Кацнельсон 1972, 101]. О речи как отражающей мысль человека и, конкретнее, как объективирующей его личностные смыслы писали и такие выдающиеся психологи, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. Но как именно рождаются новые смыслы? Какая операция составляет основу их формирования?

Мы полагаем, что ответы на эти сложнейшие вопросы могут быть в свете новейших достижений разных наук (в том числе — и теории познания) усмотрены лишь в одном — в том, что человек в своей предметно-практической и познавательной деятельности либо устанавливает новые отношения, либо обнаруживает уже известные ему отношения между новой совокупностью объектов. В конечном счете и то, и другое заключается, следовательно, в обнаружении отношений между объектами, а значит, в установлении новой структуры как структуры новых отношений или системы новых соответствий.

Замечательно сказал некогда А. А. Шахматов: «Простейшая единица мышления, простейшая коммуникация состоит из сочетания двух представлений, приведенных движением воли в предикативную (то есть вообще определяющую...) связь» [Шахматов 1941, 19]. Ситуативная обусловленность речевой деятельности рождается в силу того, что два неких образа, представления, концепта, объекта и т. д. приводятся в связь друг с другом, сопоставляются, причем так, что одно из них выступает как известное, отправное, знакомое, старое, а другое — характеризующее, описывающее, определяющее. «. Наше мышление и общение базируются на отвлеченных категориях», и две такие важнейшие категории — предмет и относимый к нему признак [Арутюнова 1976, 74], что вместе взятое и может рассматриваться как установленное новое отношение.

Мозг человека схватывает идею о новом типе отношений либо образным путем (в правом полушарии), либо логически — речевым (в левом полушарии), но главное в мышлении «не формальная принадлежность материала к вербальному или образному», а способ операций с ним, «способ манипулирования с материалом» [Ротенберг 1980, 152—154]. Способ же этот — в соединении и ассоциации того, что ранее не соединялось, в установлении связей, отношений, зависимостей во взаимодействии объектов, причем происходит такое соединение лишь при соположении объектов, которые говорящим до этого в единой системе не мыслились.

Но если новые смыслы — это прежде всего структура новых отношений, понятно и то, почему полноценной и полнокровной единицей речевой деятельности оказывается речевое высказывание, предназначенное по сути своей для передачи мысли и устроенное специально для объективации определенной структуры отношений. Задача говорящего в самом общем виде заключается не в том, чтобы назвать предмет или назвать ситуацию, а в том, чтобы дать о них то или иное представление. Слово же по своему статусу «не может отразить целую ситуацию» [Норман 1983, 44], точнее, не может этого сделать аналитически, указав одновременно и на координаты ситуации, и на ее участников, а главное, на отношения и связи между ними и саму систему связей.

Номинация, этот обязательный компонент речевой деятельности, сама по себе не самодостаточна, и лишь в соединении с грамматическим структурированием (организацией синтаксической схемы высказывания) она может реализовать мысль человека. Более того. Чем полнее и выразительней может передать та или иная единица номинации типы отношений, тем выше ее значимость для организации высказывания. Фактически поэтому многие классы единиц номинации создаются, подобно предложению, для выражения определенных типов отношений, и чем выше ранг единицы, тем более явной и расчлененной становится форма описываемого ею отношения.

При переходе от предметного кода к внутренней речи и к появлению первых единиц номинации слова выступают не только как наименования предметов. Как справедливо подчеркнуто Н. И. Жинкиным, слова «не только именуют уже выделенные отношения в явлениях, а и производят самый процесс выделения отношений» [Жинкин 1958, 361]. Как говорит В. Г. Гак, «способ описания ситуации происходит путем выделения и наименования ее элементов в процессе формирования высказывания» [Гак 1972, 364], и с этим нельзя не согласиться. Из этого суждения делается, однако, и другой неожиданный вывод: не синтаксическая конструкция создается из слов, а слова подбираются к конструкции, вернее, идет процесс взаимной «подгонки слов и конструкций, но в подгонке ведущая роль отводится именно конструкции. В доказательство этого положения приводятся слова Н. И. Жинкина о том, что, как показывает, якобы, экспериментальное изучение речи, «синтаксическая схема объединения слов... проявлялась сразу, мгновенно, «как неразложимое целое», по принципу «все или ничего». Составляя предложение из россыпи слов, пишет В. Г. Гак, испытуемые ждали, когда «всплывет» подходящая конструкция» [Там же, 364]. Но ведь первично была дана «россыпь слов». Сперва говорящего знакомили, из каких наименований ему надо построить конструкцию! Утверждения о том, что эксперименты американских исследователей (Д. Миллера, В. Пенфилда, Л. Роберта и др.) «также подтверждают глобальное появление в сознании говорящего общей структуры высказывания, к которой «подбираются слова», могут быть поэтому вос-

приняты со значительной долей скептицизма, и они требуют объяснения того, в какой форме мыслилась говорящим такая общая структура. Данные же Б. Ю. Нормана о соотношении лексического стимула и порождаемого высказывания, которые его самого приводят к выводу о том, что «переход от замысла к программированию высказывания в грамматике говорящего начинается с выбора синтаксической модели» [Норман 1983, 44], могут получить и иную интерпретацию. Ведь и здесь испытуемым задавались либо лексический стимул, либо несколько лексем, в связи с чем можно предположить, что именно эти лексические единицы тянули за собой определенную синтаксическую конструкцию (как же без нее построить высказывание?). Что же касается появления синтаксической модели как единого целого (а смысл опытов Н. И. Жинкина мы видим именно в этом, т. е. в обосновании принципа «все или ничего»), то тут, действительно, возражать не приходится. Но о приоритете синтаксической схемы перед выбором слова это, думается, все же не свидетельствует. Впрочем, мы отнюдь не отрицаем и того, что в некоторых типах речи формируется первоначально конструктивное ядро будущего высказывания, а само оно формируется на основе такого релятивного предиката, который лучше всего описан С. Д. Кацнельсоном [Кацнельсон 1972] и который соотносен им с понятием пропозиции. Ср. также [Голод, Шахнарович 1981, 243].

Дилемма, стоящая перед говорящим, заключается скорее в следующем: какому пути следовать при переходе от кода предметно-изобразительного к словесному — через слово или же через готовую конструкцию и если через конструкцию, то через какую именно — конструкцию пропозитивного типа, или же типа «семантических осей», или же типа логико-семантических отношений, исчисленных Г. Брекеле, и т. п. По-видимому, здесь опять-таки нет универсального принципа выбора этой конструкции, т. е. по мере необходимости говорящий может использовать любую из конструкций, относящихся к фиксации наиболее часто представленных в самом предметном мире типов отношений и связей. Но он может начать описание такой связи и с того объекта, которому она приписывается, и т. д. Главное поэтому определить саму «точку опоры», точку отсчета, ту конкретную единицу, будь это слово или синтаксическая конструкция, которая составит отправное начало для разворачивания высказывания.

В итоге при перекодировании личностных смыслов в языковые значения и при переходе к объективации смыслового задания предложения во внешнем высказывании должна произойти определенная группировка смыслов так, что одни смыслы войдут в величины, между которыми устанавливается само найденное отношение, другие же войдут в обозначаемое отношение. Категоризация смыслов заключается в их разбиении на объекты, с одной стороны, и отношения между ними, с другой. Кардинальное различие между разными совокупностями складывающихся смыслов мы видим, следовательно, в том, что одни становятся «подведенными» под понятие объекта, а другие — под понятия отношения. Объект выступает при этом как определенная совокупность признаков, отношение — как сам приписываемый признак.

Механизмы номинации производят согласование типа единицы номинации с той ролью, которую она будет выполнять в составе будущего высказывания и, главное, с тем, станет ли она там темой (объектом) высказывания или его ремой (отношением, признаком).

В поиске единицы номинации говорящий обращается прежде всего к лек-

сикону как хранителю готовых единиц номинации: определенному набору смыслов ищется коррелятивное ему слово или другая покрывающая его единица номинации. Поиск, не приносящий желаемых результатов (при отсутствии общепринятой единицы обозначения искомых смыслов или трудности ее извлечения из памяти или познания), приводит к необходимости перейти к созданию надлежащей единицы номинации, а значит, приводит в действие механизмы порождения (деривации) единиц. Поскольку таких механизмов несколько, но каждый из них служит созданию единиц номинации с зафиксированными общими свойствами (структурно-семантическими характеристиками, указанными в таблице), далее происходит выбор типа единицы номинации в соответствии с этими свойствами, т. е. единица номинации моделируется как удовлетворяющая выдвинутым требованиям.

Теперь понятно, почему в таблице перечислены эти требования, представленные в ней в виде особых параметров, и почему мы, в частности, ввели такие параметры, как: а) хранение единиц в лексиконе *versus* необходимость их порождения определенным компонентом языка (это соответствует этапу выбора единицы из числа готовых единиц или же переходу к ее созданию); б) предикативность *versus* непредикативность единицы, что соответствует выбору единицы по принципу либо передачи ею комплекса признаков без связи между ними, либо выражения этой единицей отношения, реляции, связи. Наконец, при необходимости выразить отношение мы вводим такой параметр, как тип связи в соответствии с тем, как можно представить описываемое отношение в данном языке, в рамках какой единицы и какого синтаксиса: внутреннего (у производных и сложных слов), малого (у словосочетаний) и большого синтаксиса (у предложений).

Иначе говоря, если принято решение выразить группу симульганно существующих признаков, само наличие которых предполагает наличие определенной отдельного объекта или реалии, наделенной этими признаками, говорящий обычно выбирает для их обозначения такую глобальную, холистическую, нечленимую на данном уровне абстракции единицу номинации, как простое слово, извлекая его из памяти. Если же необходимо передать представление о группе смыслов, между которыми существует некая связь, некое отношение, говорящий стоит перед возможностью: а) передать это отношение синтетически (отдельным словом) или же аналитически (несколькословной конструкцией) и б) выразить необходимое ему отношение с той степенью расчлененности в его подаче, которая диктуется ситуацией речи и ее замыслом, т. е. прагматически оправданна, а это значит в) представить саму структуру отношения $S - V - O$ в полном или редуцированном виде.

Если считать, что полная структура отношения передается в языке сентенциальным типом предложения (с предикативной связкой и указанием на те величины, между которыми она устанавливается, примером чего является структура $S - V - O$), а называет тип связи глагол или прилагательное¹, понятно, почему тип пропозиции определяет и тип предложения,

¹ В определении глагола и прилагательного как признаков слов мы признаем ведущими их сигнификативное начало, которым, по словам А. А. Уфимцевой, «является обобщенное понятие отношения — расчленение и конкретизация которого осуществляется исключительно через их отнесенность к конкретным категориям предметов, лиц, способных по логике вещей выступать в качестве субъекта действия и объекта, подверженного этому действию» [Уфимцева 1980, 37]. Можно согласиться и с тем, что и «прилагательные, являясь одноместными предикатами, в сущности являются

и то, почему предложениям с пропозицией отводится главная роль в синтаксисе языка. Интересно, что и другие единицы номинации оказываются способными к передаче идеи отношения, если только в них может моделироваться, хотя бы и в латентном виде, тот или иной (скрытый) предикат. Более того, можно полагать, что среди предикатов выделяются атомарные, обобщенные, и реальные, конкретные. Атомарный предикат называет не конкретный тип связи как реальный глагол, а либо указывает на ее наличие (*copula*), либо указывает самый обобщенный и абстрактный тип связи, не нуждающийся в ее конкретизации. Атомарные предикаты [ср. Кубрякова 1981, 125 и сл., Levi 1978] типа «быть», «иметь», «быть у», «каузировать» и т. п. в качестве скрытых предикатов типичны для производных и сложных слов определенных словообразовательных моделей и определенных типов словосочетаний. Напротив, для речевых высказываний (как реализующих определенный тип предложения) характерен конкретный предикат, равно указывающий на наличие связи и называющий ее тип [Степанов 1976, 224]. В этом смысле можно утверждать, что в языке выделяется столько конкретных типов отношений, сколько в нем реальных глаголов и столько абстрактных типов отношений, сколько атомарных предикатов выделяется в данной модели описания [ср. Петренко 1983, 15 и сл.].

Единицы номинации классифицируются поэтому в нашей таблице по отсутствию или же наличию связи между их составляющими и по характеру этой связи (внутренне выраженная, или латентная связь *versus* внешне выраженная), но, продолжая эту классификацию, можно было бы говорить также о том, что внутренне выраженная связь может соответствовать по своему значению либо атомарному отношению (так, *дом отца* отражает связь «принадлежать», *лес за рекой* — связь «находиться» и т. д.), либо вполне конкретному отношению (ср. все отглагольные имена, внутренний предикат которых соответствует конкретному глаголу, ср. *приезд*, *грабитель* и т. п.).

Для передачи идеи отношения и структуры отношения в речевой деятельности могут быть выбраны, следовательно, разные единицы, но в принципе это соответствует выбору: 1) производного или сложного слова при возможности компрессивного (латентного) выражения отношения с предельной степенью компрессии и минимальной степенью расчлененности структуры отношения, когда трехчленной идеальной структуре этого отношения противостоит двухчленная реальная структура деривата с одним редуцированным членом (ср. *он чистит трубы* → *он трубочист*) или когда двухчленной идеальной структуре противостоит двухчленная же, но иная по форме реальная единица номинации (*он приехал* — *его приезд*); 2) словосочетания при желательности не свертывать детали отношения в пределах синтетического обозначения, но и не развернуть их в подную предикативную конструкцию, оставив в виде латентного явно подразумеваемое отношение (ср. *дом отца*; *лес за рекой*; *большой деревянный дом* и т. д.); 3) предложения при необходимости передать задуманное отношение в виде пропозиции предикативного характера и эксплицитного, а не имплицитного, как в двух пре-

скрытой формой отношений, где один член отношения опущен» [Петренко 1983, 15—16]. Напротив, предложение выявляет (объективирует) субъективно-объектные сущности, которые характеризуются отношением, названным глаголом. Без этих «компонентов» [ср. Мораховская 1982] глагол (или прилагательное) в сущности несамодостаточно

дыдущих случаях, обозначения величин пропозиции и отношения между ними. Ср.: *я услышал лай собаки; я услышал лающую собаку; я услышал, как лаяла собака*, которые отражают типичные условия возможности выбора единиц номинации из всех указанных групп и где ясна причина выбора той или иной из этих единиц. Обратим теперь внимание еще на одну важную черту осуществляемого выбора, которую можно назвать темпоральной характеристикой единицы номинации и появление которой зависит от желания говорящего эксплицировать или нет время описываемого отношения. Когда по соображениям прагматического характера у говорящего нет необходимости специально обращать внимание адресата на время описываемого события, он обращается к тем единицам номинации, которые могут оставить этот признак ситуации не отраженным, т. е. к дериватам и словосочетаниям. Эти единицы номинации имплицитно указывают время, согласующееся со временем главного предложения, но сами его специально не выражают. Напротив, предложение как структурная единица отличается от пропозиции как ее ядра тем, что фиксирует время описываемого отношения (ситуации, события) и служит его эксплицитному отражению. Ср.:

- а) я услышал лай собаки ¹ = $\left\{ \begin{array}{l} \text{что собака лает} \\ \text{что собака лаяла} \end{array} \right.$
 (время оборота *лай собаки* подразумевается, но не определено)
- б) я услышал лающую собаку = $\left\{ \begin{array}{l} \text{что собака лает} \\ \text{что собака лаяла} \end{array} \right.$
лаявшую
- в) я услышал как лает собака (или) как лаяла собака
 (время указано совершенно точно).

Таким образом, при грамматическом оформлении единиц номинации вступают в силу законы распределения таких языковых значений, которые, будучи связаны со структурой этих единиц, позволяют благодаря их дифференциации осуществить разные смысловые задания речевого акта с исключительным разнообразием и широтой используемых при этом средств. Вместе с тем приемы моделирования здесь вполне определены.

* * *

В языке образ предмета и тем более образ ситуации представлены многогранно, многопланово и многомерно; образный код существенно отличается этим одновременным, симультанным видением и охватыванием большего числа деталей или, напротив, низведением образа до его метки. Образ маркирован глобальным характером восприятия объекта и отличается от диктуемого вербальным кодом дискретного характера изображения той же ситуации или объекта в речи. Такая дискретность достигается выделением по воле человека отдельных черт, деталей, признаков и т. п. описываемой ситуации и произведенной им оценкой их значимости. Чтобы передать сообщение другому человеку, надо определить его тему (одна опорная точка) — предмет речи — и лишь потом относительно этой координаты разво-

¹ Ср. также: *я услышал собачий лай*, где отношение ко времени то же, зато не эксплицировано различие в числе (*собака лаяла* и *собаки лаяли*) и т. д.

рачивать высказывание как характеризующее предмет речи по какому-либо приписываемому ему признаку, а значит, по указанию на типичный для него вид связи (другая опорная точка). Операция связывания объекта с его признаком, свойством (статическим или же динамическим) и составляет то главное в мысли, что подлежит объективации вовне с помощью языковых форм.

Предельным случаем такого связывания является оценка, выражение эмоций, аффекта и т. д., и тогда человек довольствуется несентенциональными формами высказывания (*Ну и дела! Что за черт! Вот это да!* и т. п.). Ясно, однако, что подавляющее большинство актов речи такой оценкой не исчерпывается, хотя многие из них такой оценкой и начинаются. Поэтому когда мы соотносим с семантикой довербальный период речи и стремимся охарактеризовать отдельно этап созревания мотива и установки речевого акта и открывающего его речевого высказывания (смысловое задание речевого акта), то с лингвистической точки зрения такой этап следовало бы связывать с выбором перформатива. Перформативом, как мы уже говорили выше, может быть как реальный, так и условный предикат, характеризующий отношение говорящего к будущему дискурсу. Перформативом, вернее, его аналогом может быть и тип выбираемого предложения (восклицание, вопрос), и его модальная рамка (если, например, определенному асертивному высказыванию предшествует оценка типа *возможно, что, , невероятно, но.., я уверен, что* и т. д.).

Таким образом, после этапа активизации сознания, принятой установки говорить, этапа настройки речедвигательных и фонационных механизмов и т. д. начинается этап рождения замысла речи (З) и ее смыслового задания (о чем + для чего). Говорящий приступает к уяснению личностного смысла (ЛС) сообщения. По нашему глубокому убеждению, такое формирование может иметь две разновидности, зависящие от того, на языке какого кода уточняется ЛС: образного (невербального) или словесного (вербального). Иными словами, мы полагаем, что пусковым механизмом речи может быть сама интенция говорящего, т. е. такой переход от ЛС к речевому высказыванию, который словесно не опосредован, не проходит этапа внутренней речи и который, следовательно, не предполагает никакого участия языка на стадии предречи. Такова спонтанная речь. Стадии предварительного обдумывания и созревания речи здесь нет, речь возникает как прямая реакция на ситуацию, мысль и слово рождаются совместно, одновременно, мысль разворачивается от первого слова, психическое и словесное здесь слито воедино.

Конечно, для осуществления речи этого типа уже нужны своеобразные навыки: их появление в онтогенезе речи явно связано с интериоризацией речевых действий во внутреннюю речь (и даже, если можно так сказать, с еще более глубокой интериоризацией). Спонтанная речь протекает как бы с пропуском звена внутренней речи, когда процесс предварительного обдумывания залушен, сведен до минимума; однако чтобы принимать такую форму, речь должна была пройти длительный путь эволюции через стадии внутренней речи с разной степенью ее развернутости/свернутости.

В связной речи одно предложение непрерывно следует за другим. Понятно, что для осознанного программирования речи и построения плана каждого последующего предложения времени просто нет. Надо либо предположить молниеносную скорость операции подготовительных этапов речи и их протекание параллельно идущему в то же время проговариванию, либо

допустить существование речевых механизмов, осуществляющих именно спонтанную речь, т. е. формирующуюся в ходе проговаривания

Если в онтогенезе путь развития речи связан с превращением предметных действий в языковые и с их интериоризацией, благодаря чему последующая постепенная эволюция языковых способностей заключается в становлении целой системы переходов от внутренней речи к внешней, формирование этой системы заканчивается как раз тем, что и внутренняя речь становится обязательным звеном (предшественником) внешней. Основной характеристикой спонтанного типа речи является, на наш взгляд, simultанность всех тех процессов, которые в патологии могут быть разъединены и которые при заранее обдуманной, планируемой речи совершаются сукцессивно. Схема порождения речи, которую мы предлагаем, и отражает последовательность процессов, типичных, по всей видимости, для более подготовленной речи, т. е. речи, имеющей не только предречевой и довербальный периоды зарождения смутного замысла, но и этап более осознанного формирования личностных смыслов во внутренней речи.

Как мы уже указали выше, объективация этих личностных смыслов в речевом высказывании в данном типе речи предполагает предшествующую ему перестройку личностных смыслов в языковые значения, целью которой является их подготовка (приспособление) к каноническим и даже стереотипным формам языкового выражения определенных значений. В этом процессе снимается противоречие между пространственно-образным мышлением человека, задачей которого является «одномоментное отражение всех существующих взаимосвязей, всего богатства реального мира», и мышлением логико-речевым, которое всегда отражает «всего лишь отдельные связи между воспринимаемыми предметами и явлениями [Ротенберг 1984, 8]. Противоречие это разрешается, на наш взгляд, за счет выбора из всего многообразия и разнообразия воспринятого образно отдельных явлений или связей, в данный момент или в данных условиях по тем или иным причинам осознанных человеком как существенные, остановившие его внимание и т. д. Предикация — это всегда актуализованная связь двух величин, это уже приписанный, выделенный, осознанный признак предмета, явления, сущности.

Внутреннее предиктивное, осуществленное во внутренней речи, есть первый след расчленения ситуации, такого ее структурирования, которое само произведено «с особой целью — обозначить выделенные элементы ситуации при помощи языковых средств» [Шахнарович 1983, 189]. «Левополушарное мышление организует любую информацию (неважно, в каком виде поступившую — словесном или образом) в виде однозначного текста, более или менее одинаково понимаемого различными людьми», — пишет В. Ротенберг. Такая организация информации, продолжает он, необходима для того, чтобы из всех воспринятых связей выбрать только существенное. Но заменив пучок связей одним комплексом (номинацией) или одной, линейной, связью, мы совершили на деле несколько разных операций. В Ротенберг видит их как будто бы лишь в одном свете — редукции. «Конечно, такое обеднение, подгонка реальной многозначности под прокрустово ложе логико-знакового контекста, перевод найденного образа в слово о найденном превращает творческую идею из «вещи в себе» (или, вернее, из «вещи в голове творца») в «вещь для нас», доступную анализу, объективному рассмотрению и передаче другим» [Ротенберг 1984, 8]. Но уже этим последним подчеркивается исключительная важность предпринятого выбора и сведения реально-

го многообразия к «однозначности», многомерных связей — к одномерной, линейной: именно это делает «линейную» связь (пропозицию) или отдельное имя не только доступными другому человеку и подвластной анализу и т. д., но и своеобразным субститутутом, абстрактным представителем разнообразных связей, их своеобразным аналогом.

То, что в конечном счете может быть представлено как известное «обеднение» картины, есть фактически и обратное: результат сознательного выбора по отсеиванию второстепенного, случайного, несущественного и, напротив, по выдвиганию на первый план самого существенного и важного. Такой анализ явно не только обедняет, но и сортирует, упорядочивает, классифицирует, иными словами — оценивает ситуацию и структурирует ее соответственно этой оценке.

Роль семантического компонента в переходе от личностных смыслов к языковым значениям с устоявшимися и отработанными языковыми формами их выражения не только в том, что, по справедливым словам А. М. Шахнаровича, с введением в действие семантического компонента «происходит «высвечивание» основных семантически значимых элементов ситуации, приписывание им признаков и выстраивание их иерархии — по значимости» [Шахнарович 1983, 190] Такое «высвечивание», действительно, имеет место, и именно оно составляет главный момент в формировании содержания и смысла будущего высказывания, но роль семантики (языковой семантики, семантики языковых форм) более конкретно может состоять и в том, что она согласует смыслы с определенными языковыми этикетками этих смыслов, предоставляя в распоряжение говорящего содержательные правила. Эти правила касаются:

1) распределения разных смыслов по разным каналам так, что в конечном счете часть личностных смыслов «передается» ведению синтаксического механизма речи (большому синтаксису), часть — ведению номинативного компонента (во всем разнообразии подчиненных ему систем — малого синтаксиса, словообразования, словаря и т. д.), причем при этой «сортировке» смыслов может оказаться и так, что первоначально вступает в действие лишь один из компонентов (см. схему 10) и развертывание речевого высказывания детерминируется выбранной исходной единицей (из большого синтаксиса: схемой задумываемой синтаксической конструкции; из номинативного компонента: одной из возможных единиц номинации);

2) согласования смыслов и языковых значений единиц из разных сфер: синтаксических и номинативных (с приоритетом единицы, выбранной в качестве исходной, и потому как бы «предлагающей» разные пути порождения речевого высказывания (так, например, выбор глагола в качестве исходной единицы речевого акта требует соответствующего заполнения мест при глаголе, точно так же, как выбор абстрактной пропозиции диктует необходимость заместить открываемые ею позиции определенными лексическими единицами и т. д.);

3) определенных способов сборки наборов (пучков) отдельных родившихся смыслов в готовые единицы номинации (слова), что образно можно представить как подведение значений под крышу (тело), знака, а также под стандартные или же канонические способы выражения отношений (эту процедуру мы уже описали выше);

4) увязки создаваемого высказывания с тем, что последует за ним, т. е. линеаризации цепочки высказываний в пределах единого дискурса и т. д.

В итоге ЛС благодаря действию семантического компонента поступают на вход двух других компонентов, в связи с чем порождение речевого высказывания можно считать результатом слаженного действия этих двух последних, предоставляющих своих единицы грамматике и фонетике для их оформления и озвучивания.

Отдельные содержательные правила можно было бы зафиксировать и для номинативного компонента, ибо если говорящий не находит в своем внутреннем «я» (памяти) готовых подходящих единиц номинации, он включает механизмы малого синтаксиса или словообразования. Таким образом, переход от одного этапа речи к другому — это всегда развилка, требующая принятия нового решения. Паузы в речи, явления хезитации, перестройки и т. д. — это знаки развилки, т. е. тех трудностей, которые встречаются говорящему в процессе построения связной речи.

3. ОБЩАЯ СХЕМА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «С ПОЗИЦИИ ГОВОРЯЩЕГО» И ЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ В РАЗНЫХ ТИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ

Завершая наше исследование, подытожим теперь все, что мы можем предположить о пути от мысли к слову и что мы уже знаем о некоторых его этапах. Формирование мысли, которое описывается нами в виде возникновения личностных смыслов и само начинается с появления у говорящего определенного замысла, может происходить как на довербальной стадии речи (когда личностные смыслы складываются на языке предметно-образного кода), так и на стадии внутренне-вербальной (когда личностные смыслы, складываясь, ословливаются во внутренней речи и получают там условную номинацию словом,) и, наконец, по-видимому, непосредственно на вербальной стадии (при спонтанной речи, когда человек думает и говорит одновременно). Соответственно этому переход от личностных смыслов к внешнему речевому высказыванию может принимать разную форму (см. схемы 6—8).

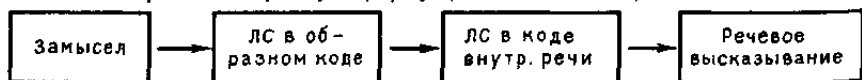


Схема 6

либо (с пропуском того или другого звена) форму:

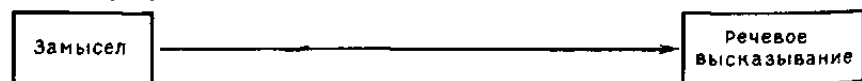


Схема 7

либо, наконец, формы:

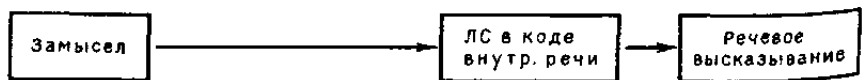
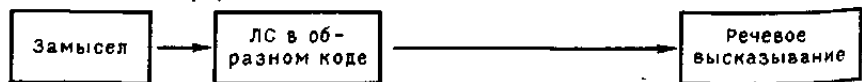


Схема 8

Уже это значит, что собственно речевое мышление может быть приуроченным к разным стадиям порождения речи: обязательное в принципе для завершения порождения речи, оно для части его случаев «пропускается» как звено, неизменное для подготовки и планирования речи. Таким образом, при построении общей схемы надо учесть возможность формирования личностных смыслов в двух (или более) кодах — вербальном и невербальном, что, по всей видимости, соответствует большей затронутости в этом процессе либо левого, либо правого полушария мозга, а значит, и индивидуальных особенностей говорящего, типа его личности, психики и т. п. с преобладанием у него образного или же логически-речевого начала. Для простоты это различие может быть представлено так, что в одном случае на внутреннем экране, или дисплее в голове человека, проносятся некие образы, картины, рисуется воображаемая ситуация и т. д., в другом же случае — на этом экране возникают не столько смутные образы, сколько подписи под ними. То, что называют внутренней речью, это обычно все же код смешанный, где на внутреннем экране не названное словом всплывает в виде смутного образа, но где параллельно неназванным величинам появляется и первая номинация.

Описанный процесс представляет собой одновременно и перевод мысли как многопланового и многомерного по своей природе целостного образования первоначально в образование объемное или же двухмерное на внутреннем экране и лишь затем подготавливаемое к тому, чтобы представить во внешнем высказывании его линейную проекцию. Перевод мысли в речь означает, с этой точки зрения, снятие n -мерности пространства и сведения многомерного не просто к двух- или трехмерному, но к одномерному, линейному.

Можно предположить также, что указанный процесс проявляет зависимость от характера задуманной коммуникации. Как пишет А. Р. Лурия, интерпретирующий наблюдения шведского лингвиста Сведелиуса (1897) о двух кардинально различных видах коммуникации (коммуникации событий, с одной стороны, и коммуникации отношений, с другой), «если за коммуникациями событий лежат процессы наглядного мышления, лишь выражающиеся в речевой форме, — то коммуникация отношений требует участия операций пространственными соотношениями, совмещающего соотносимые элементы целого высказывания в единой симультанной (квазипространственной) структуре» [Лурия 1968, 208] ¹. От мысли, содержащей идеи изображения наглядных ситуаций, легче прямо перейти к их описанию языковыми средствами, ибо языковые корреляты этих ситуаций (жесткие десигнаторы!) извлекаются из памяти в виде готовых номинаций; ассоциации вещи и ее имени здесь непосредственны и едва ли не закреплены автоматически. Напротив, «перескок» от мысли к слову затруднителен при необходимости выразить идеи отношения одного объекта к другому (*дом отца versus отец дома* или *брат отца versus отец брата* и т. п.).

В какой бы функции ни появлялось в голове человека первое внутреннее

¹ О том, что в построении этих типов коммуникации участвуют разные мозговые механизмы и что именно для осуществления коммуникации отношения требуется создание квазипространственной структуры, свидетельствуют наблюдения за больными с поражением мозга в определенной области, у которых коммуникация событий остается сохранной, а коммуникация отношений распадается параллельно разрушению у этих больных пространственной ориентации, счета и т. д.

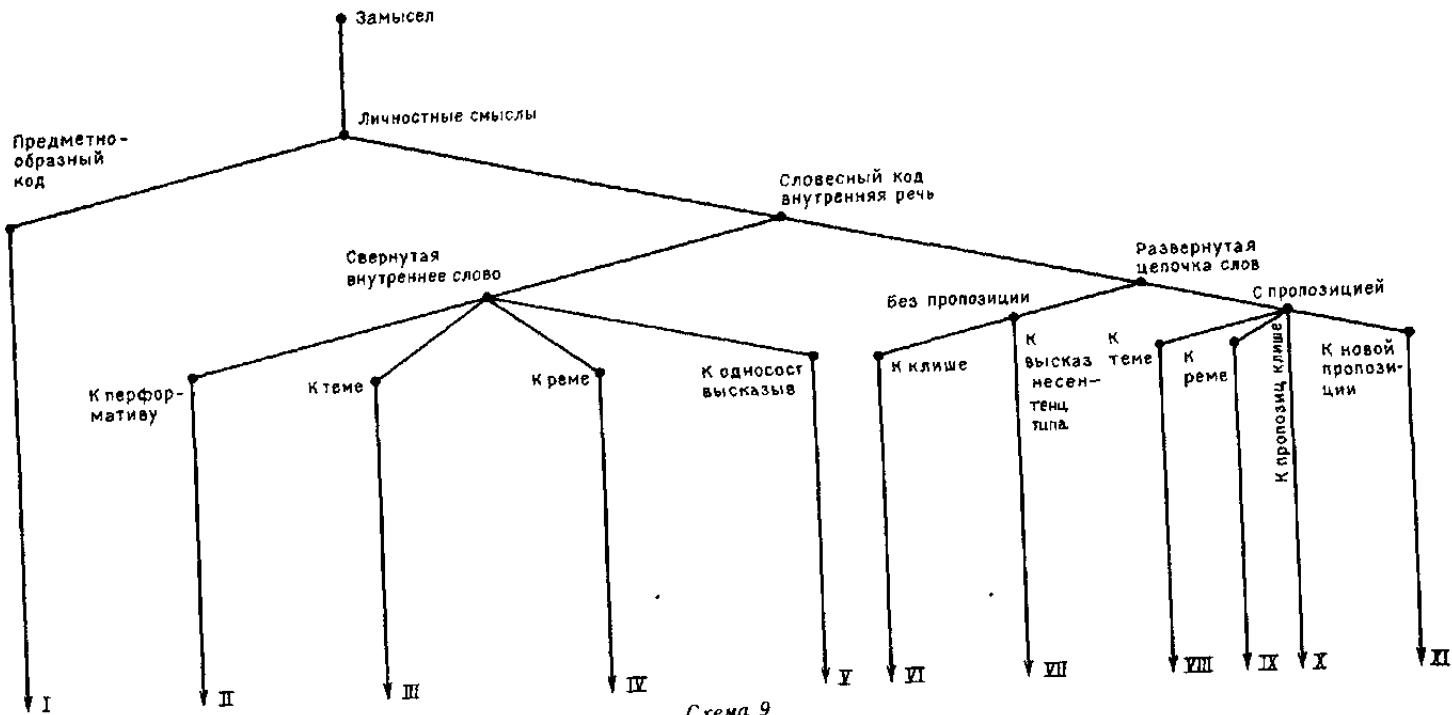


Схема 9

слово, оно оказывается номинацией для условного, «намекающего» на весь Gestalt, но представляющего лишь одну его составную часть обозначения Речевую деятельность как таковую и можно считать начавшейся фактически с этой первой номинации, анализируя, что именно названо из всех личностных смыслов в первую очередь и с какой целью Выше мы уже говорили подробно о том, почему психологи именуют это первое слово психологическим предикатом, но одновременно высказали и предположение о том, что функции этого слова, в рождающемся внешнем высказывании могут быть различными Интроспекция неизменно обнаруживает и другое во внутренней речи могут возникать не одиночные слова, а цепочки слов Это вполне согласуется с мнением ученых, отмечавших, что типы внутренней речи тоже нетождественны и что она может быть либо предельно свернутой (одно слово), либо достаточно развернутой [Серебрянников 1983, 110—111] Основываясь на этих соображениях,— о разной возможной роли исходной номинации или исходных номинаций (ниточка от которых может тянуться, собственно, к любому члену будущего речевого высказывания) и на возможности существования (появления) одного или же нескольких слов во внутренней речи, мы можем представить разные типы организации речи и, соответственно, выделить разные конкретные модели порождения речи, дав каждой из них свое собственное обозначение

Схема 9 показывает, что на дороге к созданию внешнего речевого высказывания существуют не только варианты перехода от замысла к личностным смыслам и от них к высказыванию, как мы это изобразили на рисунках выше, но и «развилки», соответствующие разным вариантам перехода от внутренней речевой стадии порождения речи (т е уже ословленной во внутренней речи) к разным языковым единицам на уровне внешнего высказывания Стратегии говорящего заключаются в выборе одной из возможных дорог, идущих от данной развилки Как только этот выбор сделан, сама выбранная форма языковой единицы тоже начинает диктовать свои условия дальнейшего продвижения от нее к полному высказыванию На приводимой ниже схеме каждая ее точка и соответствует развилке — в этом месте порождения речи говорящий, сообразно своей личности и условиям коммуникативного акта, а также его реальному замыслу и цели, принимает то или иное решение (см схему 9)

Ясно, что все пути, маркированные римскими цифрами, заканчивающиеся речевым высказыванием, отражают разные типы речи I — спонтанную речь (минуящую этап внутренней речи), II — перформативные акты речи, III и V — тип речи, который мы называем «топикальным» и который характеризуется зачином «от темы, от топика» (простого, задаваемого одним словом, или более сложного, задаваемого топикальной цепочкой), IV и VIII — тип речи, который мы называем «комментным» и который характеризуется зачином речи рематического характера, когда называется во внутренней речи признаковая, рематическая, или же функивная (а не аргументная, как в топикальном типе речи), часть пропозиции Разнообразны и типы речи, прямо приводящие к высказыванию, ибо то, что маркировано № VI,— есть путь к особому, односоставному высказыванию, то, что помечено № VII,— есть путь к высказыванию непропозиционального (несентенционального) типа, несколькословному клише (ср *Была не была, Ну и ну, Как бы не так* и т п), а № XI — путь к высказыванию пропозиционального, сентенционального типа, но одновременно клишированного характера (т е при использовании

готовой единицы, но только не словарного, а так сказать сентенционального лексикона, включая ритуальные клише, фразеологизмы и т. п., являющиеся предложениями) Наконец, № X — это канонический «пропозиционный» тип речи, когда в основу формирующегося высказывания кладется пропозиция с двумя ее компонентами, или, как мы говорили выше, некий тип связи.

Часть этих отдельных моделей порождения речи уже была охарактеризована нами на предыдущих этапах исследования (ср. описание спонтанной речи, начинающейся с перформатива; типа речи, включающего пропозицию, или же односоставное высказывание). Опишем теперь некоторые особенности тех типов речи, которые можно в известном смысле рассматривать в качестве основных, кардинальных и расхождения в структуре которых обуславливаются, по-видимому, тем, как соотносятся в них конкретно акты номинации и акты синтаксирования (предикирования). По нашему глубокому убеждению, переход от личностных смыслов к вербальному их воплощению зависит прежде всего от того, по какому каналу — номинативному или синтаксическому или же тому и другому одновременно — направляет говорящий личностные смыслы, т. е. по каким языковым единицам они первоначально распределяются. Проще говоря: тип организации речи проявляет зависимость от того, какой механизм речи вводится первым при вербализации замысла говорящего: механизм поиска, выбора или создания единицы номинации или же механизм поиска, выбора или создания синтаксической схемы будущего высказывания. Поскольку последнее в подавляющем большинстве случаев связано либо с выбором/созданием пропозиции и ее предиката, предикат же соответствует, как правило, рематической части высказывания, можно поставить вопрос и так: является ли первая ословленная единица коррелятом темы или ремы будущего высказывания, топика или коммента.

Поскольку мы полагаем, что последовательность разворачивания речи в случае выбора в качестве первого ее элемента единиц номинации (2) существенно отличается от случая, когда первоначально выбирается синтаксический костяк будущего высказывания (1), и от случая, когда и то и другое выбирается симультанно (3), разные с этой точки зрения типы речи могут быть изображены рисунками (см. схему 10).

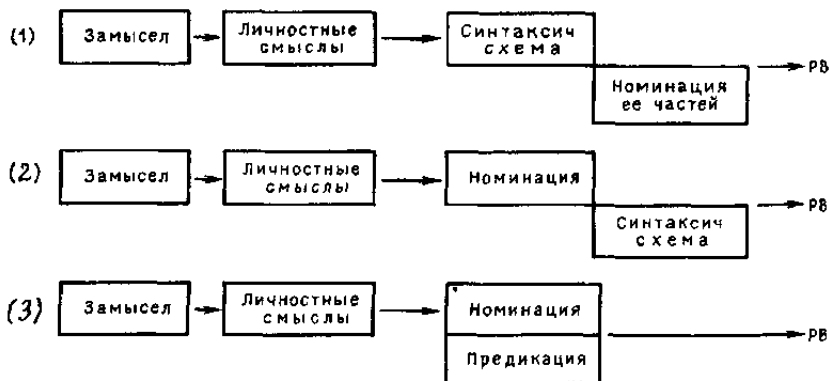


Схема 10

В первой модели порождения речи образование синтаксической схемы предложения предшествует заполнению ее лексическими единицами, эта модель порождения, как мы пытались продемонстрировать выше, подробнее всего охарактеризована в трансформационной и генеративной грамматике. Из советских исследователей ее представил наиболее полно Б. Ю. Норман.

Во второй модели порождения, напротив, номинация опережает синтаксирование; найденная во внутренней речи исходная номинация тянет за собой ту или иную синтаксическую схему, которая, правда, тоже демонстрирует разный механизм синтаксического разворачивания (развертки) в зависимости от того, является ли такая номинация аналогом темы или ремы будущего высказывания [Кубрякова 1979; 1982; 1984].

В третьей модели порождения все основано на симультанном взаимодействии номинации и предикации и их согласовании с того самого момента, когда первая номинация осознается как член определенной пропозиции или даже когда оба поименованных члена пропозиции выступают как единицы номинации с уже установленными отношениями между ними: пропозиция формируется не абстрактно, а на основе объединяемых предикатной связью единиц. Эта модель с психологической точки зрения охарактеризована наиболее детально И. А. Зимней, а с логико-лингвистической — С. Д. Кацнельсоном [Кацнельсон 1970; 1972; 1984]. Ср. также [Голод, Шахнарович 1981, 243 и сл.].

Наибольшей значимостью среди этих разных моделей порождения речи обладает, по-видимому, последняя, ибо важнейшим принципом осуществления речевой деятельности в норме является, вероятно принцип симультанного согласования номинации и предикации, который в конечном счете осуществляется обязательно, но в первой и второй моделях стимулируется по-разному и маркирует разные этапы протекания речи. Многие ученые рассматривают наличие номинации и предикации как неотъемлемое свойство рече-мысли, ибо «...человек никогда не может помыслить мысли (to think a thought), в которой не было бы предиката и отсылочного элемента» [Sampson 1980].

Как это ни парадоксально, однако, в высказываниях, которые можно подвести под понятие предложения неканонического типа, — в односоставных высказываниях бытийного (номинативного) типа предиката как такового нет. Можно, конечно, считать, что отсылочный элемент (a referring element), т. е. одна-единственная номинация в предложении этого типа и есть предикат, но если психологически эта точка зрения и возможна (см. вышесказанное о психологическом предикате), с лингвистических позиций это кажется натяжкой. Этот тип разворачивания речи в одно-единственное слово-предложение (на схеме он помечен номером VI) состоит в том, что внутреннее слово, без изменения и трансформации «озвучивается» и становится в таком виде реализующим законченное высказывание, ср.: *Тихо; Ни облачка; Тишина; Мороз(но)* и т. п.

Хотя иногда предикативность и рассматривается как приобретаемое отдельной словоформой или словосочетанием свойство быть интонационно законченным высказыванием [Шмелев 1973, 125] и в таком мнении справедливо отражено «право» говорящего решать, какой отрезок речи задуман им как сепаратное высказывание, отход от определения предикативности в логике здесь несомненен. Можно утверждать во всяком случае, что в этих односоставных высказываниях нет пропозиции, а если так, далее напрашива-

ется и вопрос о том, так ли уж обязательна пропозиция для формирования речи; С. Д. Кацнельсоном такой путь от мысли к слову постулируется как единственно возможный. Интересно отметить, что и генеративная грамматика трактовала предложение как такую структуру S, в которой четко разведены и противопоставлены друг другу две его части — глагольная и именная, предикат и субъект. Но, как мир, древен и другой тип предложения — именной.

Предложение именовое «настолько всеобще,— пишет Э. Бенвенист, подробно описавший функциональные и структурные характеристики этих предложений,— что, если бы мы хотели определить статистически или географически границы его распространения, нам гораздо легче было бы перечислить флективные языки, в которых оно отсутствует... чем те, в которых оно встречается» [Бенвенист 1974, 167—168]. Предикация здесь усматривается в установлении связи между языковой формой имени и системой действительности, и в этом смысле морфологическая форма имени выполняет функцию глагола (предикирования).

Мы, однако, полагаем вместе с Б. А. Абрамовым, что подобные предложения «побуждают предположить существование и такого способа мышления об окружающей нас действительности, при котором ее вычлененный мыслительно-речевым актом фрагмент подается глобально, без внутреннего расчленения на предмет и его признак и соответственно без их раздельного наименования» [Абрамов 1979, 9]. Нерасчлененные высказывания такого типа и задуманы как указывающие глобально на существование чего-либо [Кубрякова 1978, 36—37]; начиная речь, они оказываются в положении рематического топика, и этим сближаются с топикальным типом речи (*Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет*). [Ср также Арутюнова 1976, 229 и сл.]. Хочется указать в этой связи на особое положение первого высказывания дискурса или высказывания, с которого начинается речевой акт, не только потому, что они «открывают» повествование и имеют в этом отношении интродуктивную функцию, но и потому, что по своему актуальному членению они, с одной стороны, отражают обычные его законы (сперва известное, данное — далее новое; вначале, как правило, тема, затем — рема), но, с другой, с точки зрения слушателя, выполняют иную функцию: идентифицировать предмет речи (осуществить соглашение о том, что ляжет в основу речевого акта). Возможно, сам такой топик для слушающего и не нов, однако он является рематическим в том смысле, что именно он, а не другой выбран в качестве предмета разговора и очерчивает его границы. Известны говорящему ночь вообще, улица вообще и т. д., но он впервые узнает о том, что вокруг их совокупности может нечто происходить, что ситуацию создает их наличие в одном месте и в одно время; «расстановка сил» является новой, а потому хотя задается топик, он одновременно рематичен и вводит новую информацию.

В своей книге «К тайнам мысли и слова» Л. В. Сахарный напоминает о юмористическом рассказе К. Чапека «Эксперимент профессора Роусса», в котором некий репортер Вашатко, тридцать лет работавший в газете, в ответ на слово-стимул выдает одни стандартные, штампованные фразы «Глаза», — задает стимул профессор Роусс и слышит в ответ: «Завязанные глаза Фемиды. Бревно в глазу. Открыть глаза на истину. Очевидец. Пускать пыль в глаза. Невинный взгляд дитяти. Хранить как зеницу ока» и т. д. [Сахарный 1983, 83]. Такие клише сплошь да рядом характеризуют речевые акты, притом

к ним относятся не только обороты ритуального толка (*Как дела? Что нового? Как поживаете?* и т. п.) и не только «цитатные» материалы. Стереотипные способы членения ситуации и ее описания проникают в обыденную речь гораздо больше, чем мы замечаем. Экономя время, собственные усилия и даже проявляя лень мысли, мы используем не только в зачинах речи, но, так сказать, и внутри беседы или разговора по телефону знакомые всем штампы и стереотипы. Механизмы аналогии мощно пронизывают всю нашу речевую деятельность, оставляя в ней место для творческого начала лишь в тех проблемных ситуациях, где мы действительно вынуждены устанавливать новые типы отношений и не довольствоваться принятым членением ситуации и повторенным неоднократно в предыдущих актах коммуникации. Ясно, что описание такого клишированного типа речи и используемых в ней стереотипов уводит в сторону от темы настоящего исследования; нельзя не отметить, однако, что человек черпает такие стереотипы из своей памяти точно так же, как обычные единицы номинации, и что поэтому номинативный аспект речевой деятельности связан по инвентарю своих средств с гораздо более широким ассортиментом единиц, чем это считалось ранее.

Л. С. Выготский полагал, как известно, что внутренняя речь — это «речь почти без слов» [Выготский 1956, 368]. На самом деле очень часто во внутренней речи всплывают целые куски (полуфабрикаты) будущего высказывания (синтагмы, chunks), и среди них немало стереотипов. Лишь сознательные усилия, направляемые на формирование мысли и ее возможно более точное выражение, заставляют перебирать «в уме» разные варианты объективации и вербализации мысли, отвергать одни и предпочитать другие. Вне такой специальной активизации сознания речь строится по привычным канонам, она достаточно проста и нередко стандартна. Про этот клишированный тип речи так и хочется сказать, что она протекает автоматически.

После этих беглых замечаний о возможных разновидностях более простой речи остановимся на механизмах формирования речи в тех случаях, где говорящий использует менее тривиальные пути перехода от мысли к слову.

Излагая историю создания разных моделей порождения речи в отечественной и зарубежной лингвистике, мы уже говорили о том, что мысли Л. С. Выготского о формировании высказывания на основе предиката, появляющегося во внутренней речи, и положения генеративной грамматики о приоритете синтаксиса странным образом слились вместе в концепциях тех ученых, которые представляли процесс речеобразования как начинающийся выбором синтаксической схемы. Иными словами, инициальные моменты речи всегда сопряжены якобы с синтаксированием и последующим заполнением синтаксической схемы лексическими единицами. Ср., например, у Б. Ю. Нормана: «В процессе речевой деятельности синтаксическая позиция заполняется лексемами, которые тем самым получают статус словоформ». Или еще более определенно: «...представляется возможным... утверждать, что порождение высказывания как такового начинается именно с выбора структурной схемы» [Норман 1978, 49]. В доказательство своей точки зрения он приводит примеры из художественной литературы, фиксирующие такие ситуации, когда синтаксическая схема выбрана, но ее реализация тормозится неожиданно забыванием слова или нежеланием назвать кого-то по имени и т. д. Благодаря этому кажется, что синтаксическая схема не может быть развернутой до конца из-за «запаздывания» лексики. Не отри-

чая воздействия выбранной лексики на дальнейший ход развертывания фразы, он все же утверждает, что выбор синтаксической модели высказывания определяется не только внеязыковыми отношениями (мотив) и не только замыслом говорящего (во внутренней речи), но и «самим механизмом речевой деятельности» [Норман 1978, 53].

Возможно, что такой путь от мысли к слову тоже существует¹, но остается неясным здесь главное: в какой форме (на основе какого субстрата) может складываться в голове человека синтаксическая схема? Что именно оказывается в этом случае праобразом будущего синтаксического целого: комплекс определенных синтаксических позиций (подлежащее — сказуемое), привычный порядок расположения определенных грамматических членов предложения, устоявшиеся «семантические оси» (действие — объект действия)?

Даже в письменной речи, когда времени на обдумывание строения фразы предостаточно, синтаксис предложения появляется симультанно с теми словами, относительно которых мы варьируем возможное расположение других слов. Схема «в чистом виде», т. е. как полностью освобожденная от слов, представима только в грамматике; психологически же реальным кажется скорее перебор слов или готовых синтагм и их выстраивание в одну линейную цепочку, нежели представление о неких slots, которые должны быть ими заполнены. Критика марковских процессов в порождении речи, как и критика ассоцианизма, в целом справедливая, незаслуженно принизила вместе с тем роль ассоциативных процессов в языке: правила синтагматического расположения слов, закономерности синтагматической их сочетаемости, нормы ассоциативного связывания одних слов с другими [Клименко 1982] — все это, конечно, играет существенную роль в организации предложения, в создании единиц номинации, но главное — в выработке тех трудно определимых правил, которые обеспечивают переход от одного слова к другому в пределах одной синтагмы, в отличие от правил, создающих условия для координации таких синтагм в рамках одного целого.

Синтаксическим моделям порождения речи, где создание синтаксической схемы опережает ее лексическое заполнение, можно противопоставить модели тоже синтаксического порядка, но более жестко связывающие саму синтаксическую схему предложения с пропозицией, т. е. ее каркасом, логическим ядром. Такая концепция порождения речи была предложена в серии работ С. Д. Кацнельсона [Кацнельсон 1970; 1972, 1984], в которых зарождение мысли и речи связывается в первую очередь с членением потока мысли «на отдельные кадры», а средством членения считается реляционный предикат (ср. психологические предикаты Л. С. Выготского). Предикаты формируют пропозиции, отличающиеся от предложений тем, что аргументы предиката уже определены (например, при предикате «дать» уже формируются аргументы «книга» и «брат»), но их иерархия еще не установлена: аргументы еще не являются ни субъектом, ни косвенным объектом и т. п. Проще говоря, вырисовываются единицы, которые займут «места» при выбранном *n*-местном предикате, но диспозиция этих мест в высказывании еще не определена. Переход к внешнему высказыванию знаменуется тогда возведением

¹ Выше мы приводили данные афазиологии, которые истолковываются как доказательство существования специального аппарата «линейной развертки» фразы у говорящего.

одного из аргументов в ранг подлежащего, причем «нормальный ход коммуникации состоит в постепенном продвижении от известного к неизвестному» [Кацнельсон 1984, 7—9], а эти категории определяются из расчета осведомленности слушателя, т. е. с ориентацией на адресат речи

Мы полагаем, что пропозициональный тип речи может формироваться тоже с известными отклонениями от приведенной схемы. Для складывания пропозиции обязателен не реляционный предикат, а само выявление тех сущностей, между которыми усматриваются некие отношения; в ситуации при ее расчленении могут быть первоначально определены некие координаты, опорные точки, стабильные величины (так, глядя на картину, мы первоначально можем воспринять ее всю целиком, но можем выхватить вначале некие ее наиболее бросающиеся в глаза детали, соотношение же их будет осмыслено несколько позднее). Таким образом, повествование о ситуации, событии и т. д. зависит от того, как мы восприняли ее, а поскольку хорошо известно, что одна и та же ситуация может быть воспринята по-разному, она и описана будет по-разному.

Можно сказать, что рассмотренные нами модели распределяются по шкале, крайние точки которой отражают степени детализации в построении плана будущего высказывания. В моделях типа модели Б. Ю. Нормана или ориентированных на полную синтаксическую глубинную структуру порождение речи рисуется как происходящее на основе полной синтаксической схемы высказывания. В модели С. Д. Кацнельсона зародыши речи редуцируются и изображаются как свернутая до пропозиции синтаксическая схема; в модели Л. С. Выготского для порождения речи нужно еще меньше — один предикат и, наконец, мы предполагаем, что внутренним словом, от которого начинается внешнее речевое высказывание, может быть и не предикат, а слово, номинация, данная одному из главных компонентов ситуации. Как мы говорили выше, от внутреннего слова могут протянуться ниточки к будущему предикату, но могут — и к субъекту высказывания, и его объекту, и его актантам, и его сирконстантам.

Ясно, что каждая модель порождения речи включает представление об особом механизме развертывания речи. Но еще интереснее, что каждый такой механизм в сущности уже был описан в разных версиях грамматик, только, конечно, там он не получал психологического обоснования и описывался не как механизм речи, а под другими названиями.

Выше мы уже указали на связь представления о разворачивании речи «от синтаксической схемы» с генеративной грамматикой. Можно указать на связь модели порождения речи, строящейся «от пропозиции», с традициями логики и воссозданием логического каркаса предложения в виде функционально-аргументной конструкции (пропозиции) Модель порождения речи «от предиката» лучше всего интерпретируется в терминах падежной грамматики и проще всего согласуется с идеями заполнения мест у *n*-местных предикатов, выдвинутыми в теории валентности и грамматике зависимостей, с одной стороны, или же с теорией семантических ролей и «падежей» в грамматике падежной. Наконец, предположения о том, что речь рождается «от слова» или целых кусков (*chunks*) будущего высказывания, могут найти свое подтверждение в грамматике синтагматической, уделяющей большое внимание строению отдельных синтагм и вообще правилам синтагматического сцепления и распространения единиц

Остается теперь только одно — привести некоторые доказательства самой

возможности строить речь «номинативным» путем, т. е. начиная ее с найденного обозначения для одного из компонентов будущей фразы.

Ясное представление о таком «топикальном» типе речи дает М. Булгаков, описывая формирование и мысли, и речи у своего героя следующим образом: «Аннушка... Аннушка?... забормотал поэт, тревожно озираясь,— позвольте, позвольте... К слову "Аннушка" привязались слова "подсолнечное масло", а затем почему-то "Понтий Пилат". Пилата поэт оторнул и стал вязать цепочку, начиная со слова "Аннушка". И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору» («Мастер и Маргарита»).

Суть топикального типа порождения речи заключается в том, что рождающиеся личностные смыслы получают во внутренней речи или же непосредственно в речи внешней свою условную, резюмирующую номинацию. Все богатство мысли сперва обобщенно и абстрактно (в смысле абстрагирования от всех деталей ситуации или явления, подлежащего обсуждению) сводится к одному — нескольким обозначениям. Ситуация рисуется через ее заместителя — слово. Как в опыте с увеличительным стеклом или линзой, когда мы концентрируем в одной точке солнечную энергию, и из пучка лучей создаем нечто одно, сосредоточив их в один фокус, точно так же поступаем мы при рождении мысли. Фокусом смыслов оказывается при этом слово, название, краткий, но емкий знак ситуации, события, явления, процесса.

Проще всего наблюдать этот процесс в живой, разговорной речи, при выносе в инициальную позицию такого наименования, за которым стоит не столько сам называемый денотат или референт, сколько связанные с ним в данном случае (т. е. в определенное время в релевантной для говорящего обстановке) экстенсионалы (цепочки смыслов). На прямое номинативное значение слова здесь наслаены, так сказать, ситуационные значения; номинативная функция слова используется в расширительном духе: у говорящего для того, чтобы обобщенно и в лаконичной форме редуцировать мысль, у слушающего, напротив, для того, чтобы вызвать все те ментальные образы, которые «свернул» в одно слово говорящий, т. е. чтобы возбудить надлежащие ассоциации.

Обстановка и условия речи ограничивают их русло, направляя сами эти ассоциации в определенную сторону; одновременное присутствие собеседников и их вовлеченность в одну и ту же ситуацию делают достаточным произнесение одного слова, чтобы по нему реконструировать все остальное. Ср. *Апельсины... Дайте парочку; Седьмая поликлиника. Выходите?; Борец за справедливость. Всегда такие находятся; Глупец. Ему бы не замечать* и т. д.

Основной принцип актуализации в разговорной речи О. А. Лаптева связывает с выносом в инициальную позицию главного информативного центра высказывания [Лаптева 1976, 119, 40, 185]. Следовательно, и здесь мы можем говорить о рематическом топике и одновременно — о переходе психологического предиката во внутренней речи в тематический компонент складывающегося высказывания. При перескоке через этап внутренней речи здесь можно говорить о том, что мысль формируется через утверждение о предмете мысли и что речемыслительный процесс начинается с обозначения его темы.

Номинативный зачин речевых высказываний известен не только для русского языка, ср. фр. *Papa, il travaille; cette lettre, je l'ai écrit*; англ. *John, he will be soon here*; нем. *Das Buch. Hab's nicht gesehen* и т. д.

Выше мы уже говорили о том, что при афазии номинативная функция

может остаться сохраненной даже тогда, когда функция грамматического структурирования подавлена; на все вопросы большие отвечают одними наименованиями. Номинативный аспект речи существует, таким образом, отдельно от синтаксического; патология демонстрирует, что соответствующие им речевые механизмы обладают своим собственным спектром действия и представляют собой разные устройства. Речь может поэтому протекать при выключении одного из этих устройств, а каждое такое выключение приводит к разным последствиям. Но речь не бессмысленна только тогда, когда правильно работает (не выключен) аппарат номинации и когда человек в состоянии дать правильное обозначение предметам и явлениям внешнего мира. Уже это свидетельствует, по всей видимости, о примате номинации и полной невозможности построить сколько-нибудь понятную речь без надлежащих имен.

Мысль не только творится в слове, она немислима без слов, если мы хотим сделать ее достоянием другого человека. Синтаксис может быть сведен до минимума, синтаксическая конструкция может быть равной слову по своей структурной (форматной) характеристике. Но быть свободным от номинации синтаксис не может. Структуриция потока мысли достигается уже тогда, когда мы вводим его членение посредством перечисления и обозначения его отдельных компонентов, будь это топикальный план лекции или сочинения или же анкета социологического обследования.

Ярчайшие свидетельства такого потока мысли и такого его речевого анализа представлены номинативным стилем поэтической речи. Рамки исследования не позволяют остановиться специально на интерпретации поэтической речи. Но бесспорно, что именно здесь — отражение спонтанного, глобального виденья мира, «потока сознания», который при линейном его отображении и не может быть представлен иначе, чем через цепочку имен, за каждым из которых стоит свой образ, но которые именно вместе и в определенной последовательности перечисленные рисуют нам картину, возникающую первоначально перед мысленным взором поэта.

Перечисление координат поэтического пространства и времени [ср. Кубрякова 1980] как примета безглагольного или именного стиля позволяет говорить о нескольких разновидностях топикального типа речи: предметно-топикальном, с одной стороны, и локативно-топикальном, с другой. Этот последний можно было бы назвать *scene-setting*, «сценарным», поскольку по своей функции он направлен на характеристику сцены действия в противовес предметно-топикальному типу речи, функция которого обозначить предмет мысли как таковой.

Сценарные типы речи — не только в поэтической речи, где цель поэта — ввести вас в особый мир происходящего и воссоздать условия этого мира. Они — в описании сцены действия в буквальном смысле, в драматургии, где пьесе предпосылаются указания о том, на каком фоне будет разворачиваться играемое действие и в каких конкретных координатных пространствах его следует играть. Такие указания предназначены для зрителя, и они рассчитаны на особенность визуального восприятия происходящего — на восстановление картины происходящего. Но не на то же ли самое рассчитывает и поэт, строя свой образный мир и стремясь к тому, чтобы мы увидели его таким же, каким он предстал его воображению? Можно полагать, что прежде чем описать события, происходящие в воображаемых мирах, поэты и писатели стремятся дать представление о его координатах и сблизить эти миры с реаль-

ным, подчеркивая в них наличие неких конкретных пространственных и временных характеристик.

Локативно-топикальный тип повествования широко представлен в древнейших хрониках, которые сами отражают стиль устного повествования, вводящего слушающего в обстоятельства описываемой ситуации (...в году 1012; в городе N., пополудни...; однажды, когда король...). Но топикальный тип речи может разворачиваться не только от имен или именных групп; ср. зачины типа *жили-были на свете; была некогда одна...*

Интересно отметить, что при выключенном правом полушарии, которое «ответственно» за семантические связи слов, левое полушарие по-разному реагирует на заданное слово-стимул в зависимости от того, представлен ли такой стимул именем или глаголом. Хотя здесь всегда происходит соотнесение стимула и ассоциата в семантико-синтаксической структуре и имеет место восстановление ситуации, стоящей за словом-стимулом, детали этого процесса оказываются различными [Долинниа, Балонов, Деглин 1978, 58—60]. Это тем более важно, что в принципе очевидна недостаточность работы одного правого полушария для правильного порождения речи как раз потому, что механизмами грамматической семантики — синтаксиса и словообразования — ведает левое полушарие. Здесь еще раз подтверждается близость механизмов по комбинации сложных знаков из простых в словообразовании и синтаксисе, с одной стороны, и противоположенность этих процессов (включая правильное морфологическое оформление аранжировок знаков) процессам лексического связывания слов в правом полушарии и установления связей по их семному составу, с другой стороны.

Можно предположить поэтому, что марковские процессы объясняют ассоциации слов в пределах маленьких блоков (например, атрибутивных комплексов), но для построения предикативной связи они недостаточны, хотя сами ассоциативные связи глагола таковы, что он «тянет» за собой его «комплементы» и актанты, и, значит, по идее, перейти к построению синтаксического целого от глагола легче, чем от имени (*пришел он вчера; читал книгу и вдруг...*). Не случайно поэтому, что в речи афатиков страдает не только механизм синтаксического развертывания как таковой, но и механизм запоминания глаголов. У нас нет никаких данных о том, какие части речи всплывают чаще всего во внутренней речи (напомним, что Л. С. Выготский говорил о преобладании во внутренней речи психологических предикатов, а не глаголов в противопоставлении именам), в связи с чем были бы интересными экспериментальные исследования, которые могли бы прояснить эту ситуацию. Но то, что предмет речи может быть обозначен по-разному и что экспозиция будущего повествования может быть дана с разной степенью детализации, не высказывает сомнения. Отсюда и разные разновидности топикального стиля речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование было посвящено чрезвычайно сложной теме — определению основ речевой деятельности и места в ней номинативного компонента языка. Его осуществление было затруднено как нерешенностью целого ряда проблем, относящихся к моделированию процессов порождения речи, так и отсутствием сведений о том, что представляет собой номинативный компонент языка и каковы границы его действия. Ни в одной из существующих моделей порождения речи номинативный компонент не был описан в полном объеме: он либо не выделялся вообще, либо сводился к механизму выбора и поиска слова, т. е. неправомерно сужался.

Подробно описав в серии предыдущих работ разные процессы номинации, особенно связанные со словообразованием, изучив технику этих процессов, мы тем не менее не представляли себе, какое конкретное место занимают они в проведении речевой деятельности и к каким ее этапам должны быть приурочены. Мы также не представляли себе, каково их реальное соотношение с другими процессами в речевой деятельности или другими действующими здесь механизмами. По первоначальному замыслу книга и была связана с решением этих проблем. Но приступив к исследованию, мы убедились в том, что не только механизм номинации, но и другие не менее важные компоненты речевой деятельности не описаны с лингвистической точки зрения или же не освещены по их связи с другими компонентами. Иначе говоря, поставленные в книге проблемы не могли решаться без того, чтобы не представить хотя бы в самом общем виде принципы организации речевой деятельности, ее главные этапы, ее структуру.

Чтобы совершить это, пришлось обратиться к данным разных научных дисциплин, изучить литературу по смежным проблемам, выйти в новые сферы знания. Вводя читателя в творческую лабораторию исследования и проходя с ним вместе путь научного анализа, объясняя теоретические предпосылки развиваемой здесь концепции, мы были вынуждены останавливаться в разных частях книги на историческом обзоре взглядов тех ученых, которые уже внесли свой вклад в освещение тех или иных вопросов в интересующей нас области. Вследствие выбранной композиции работы, возможно, главная линия исследования не всегда прослеживалась достаточно ясно: общая концепция речевой деятельности сложилась к концу исследования, и потому, завершая его, мы сочли целесообразным в этой заключительной части охарактеризовать главные пункты защищаемой нами теории и высказать общие соображения о том, как могут истолковываться с лингвистической точки зрения инициальные этапы речевой деятельности, описываемой с позиции говорящего субъекта, и какую роль играют внутри этой деятельности процессы

номинации. Языковой материал долгое время изучался для того, чтобы обнаружить стоящую за ним систему языковых единиц и правил. В настоящей книге он анализировался как сохраняющий следы деятельности говорящего человека по вербализации его мыслей, по объективации его интенций в акте речи, он служил материалом для реконструкции путей перехода от мысли к слову, для уточнения целого ряда лингвистических понятий по их участию и роли в порождении речи и процессах говорения. Языковой материал стал здесь предметом анализа для определения закономерностей его реального функционирования — для установления структуры и организации речевой деятельности.

* * *

Самые сложные научные проблемы неизменно возникают на стыке разных наук, а их решение по необходимости связано с проникновением в материал разных дисциплин и интеграцией их данных. Ставящиеся в настоящей книге проблемы принадлежат именно к их числу: чтобы понять основания речевой деятельности, нужны усилия ученых разных специальностей. Вместе с тем важно и другое: представить конкретно, каков вклад каждой из необходимых дисциплин в освещение поставленной проблемы, какую совокупность сведений может предложить эта дисциплина для решения задачи. Выбранный здесь лингвистический подход был, таким образом, с самого начала связан с определением места лингвистических данных в уяснении сути процессов порождения речи и конфронтацией этих данных со сведениями, которые должны были быть почерпнуты из других наук.

Философской базой исследования послужили основополагающие идеи классиков марксизма-ленинизма о соотношении языка и мышления, о предметной деятельности как базе всех других видов человеческой деятельности. Теоретические и методологические предпосылки работы были вследствие этого обусловлены развивающейся в советской философии и психологии теорией деятельности и деятельностным подходом к исследуемым объектам. Рассуждениям о том, что есть речевая деятельность, в книге были предпосланы страницы о том, что собой представляет человеческая деятельность вообще и какова ее структура и особенности. Ведь речевая деятельность составляет неотъемлемую часть поведения человека и должна рассматриваться как особая разновидность его деятельности в целом, специфическая по ее функциям и используемому в ней средству — языку.

Психологические основы развиваемой здесь концепции были заложены трудами советских психологов, в силу чего освещение наследия этих ученых и попытка интерпретации их взглядов с лингвистической точки зрения составила важную часть работы. Изучаемый вид деятельности рассматривался в неразрывной связи с деятельностью сознания и мышления; речевая деятельность анализировалась как деятельность речемыслительная, отражающая работу не только внутренних механизмов порождения речи, но и работу человеческого мозга, интеллекта человека и его психики. И хотя мы сочли возможным отвлечься в книге от конкретных психологических и нейрофизиологических представлений о механизмах речи, мы пытались рассмотреть речевую деятельность на достаточно широком фоне, понимая ее и как коммуникативную, и как когнитивно-познавательную, а потому — интеллектуальную. Вследствие этого порождение речи изучалось прежде всего с точки зрения объективации в ней интенций и мыслей человека, т. е. как деятельность по вербализации определенных замыслов человека.

Такой подход предопределил попытки выявить принципы порождения речи, противопоставив их до известной степени, как это и принято в современной психологии, процессам восприятия и понимания речи. Такой подход обусловил также особое внимание, уделяющееся здесь освещению позиции говорящего человека, начинающего речь для того, чтобы сделать свою мысль достоянием другого.

Понятие мысли интерпретировалось в книге как особым образом структурированный гештальт, особое объединение личностных смыслов, возникающее в голове человека при активизации его сознания и направленности последнего на те или иные объекты и их осмысление. Рассматривая мысль как концептуально-содержательную величину, мы изучали путь ее формирования с помощью языка и ее экстерниоризации с помощью речевой деятельности — вербализацию мысли в процессе ее образования и выведения во внешнее речевое высказывание. Этот процесс, часто именуемый в психологии путем от мысли к слову, заставляет предполагать изначальную разделенность того и другого, наличие мысли до слова и вне слова. Но верно, по-видимому, лишь то, что замысел, а не мысль может существовать не в вербальном коде, т. е. в субстрате, отличном от языкового. Иначе как можно было бы трактовать иное, не менее известное в психологии положение о том, что мысль т в о р и т с я в слове и формируется в нем?

По-видимому, каким бы ни был фактически субстрат мысли и мышления, а, на наш взгляд, он может быть и невербальным, предметно-образным, какой бы чувственной тканью ни облекались наши личностные смыслы, последние, чтобы стать мыслью, должны приобрести, вербализуясь, особую структуру, упорядочиться, сгруппироваться. Длительное использование языка не могло не привести человека к тому, что для объективации мысли личностные смыслы должны выстроиться в особом порядке, расположиться для организации будущей пропозиции как члены ее противоположных начал, как образы объектов, между которыми человек устанавливает определенную связь.

Путь от мысли к слову представляет собой сложный и поэтапно протекающий процесс перехода от рождающихся в голове человека смутных образов, ассоциаций, представлений и т. д., от активизируемых в момент пробуждения сознания концептов и личностных смыслов и потребности сказать что-то — к переработке этих личностных смыслов, производимой в целях их дальнейшего «кословливания», для чего некоторые личностные смыслы стягиваются в одно целое, некоторые устраняются, некоторые оказываются в фокусе сознания и т. п. Эта переработка оборачивается с лингвистической точки зрения в переход от личностных смыслов к языковым значениям, закрепленным в системе языка за определенными языковыми формами. Языковая форма выбирается для обозначения личностных смыслов соответственно ее языковому значению.

Человек членит личностные смыслы и располагает их в группы соответственно общеупотребительным объединениям языковых значений в определенных языковых формах, прежде всего — языковых знаках. Знание языка проявляется в первую очередь в умении выбрать из существующего инвентаря средств или создать по отработанным правилам подходящие для реализации его замысла языковые формы. Роль и место процессов номинации определяется, следовательно, тем, какая часть личностных смыслов будет передана в речевом акте с помощью существующих единиц номинации, прежде

всего — слов, какая функциональная нагрузка ляжет на эти единицы в отличие от той, которая будет возложена на синтаксическую конструкцию, синтаксическую схему будущего предложения со всеми средствами создания его тектоники.

В процессе рождения мысли происходит постепенное осознание и выделение личностных смыслов как праобразов компонентов будущего высказывания, обычнее всего путем подготовки пропозициональной схемы предложения и установления определенных отношений между личностными смыслами, путем подгонки их под те или иные синтаксические позиции, путем номинации отдельных пучков личностных смыслов языковыми единицами и т. п. Иначе говоря, квант содержания сознания превращается в мысль по мере того, как отдельные концепты этого содержания — личностные смыслы — упорядочиваются и вербализуются соответственно закономерностям используемой в акте речи языковой системы. Такая система существует для говорящего в виде системы знаний, как бы предшествующих речи и используемой тем адекватнее, чем сильнее развиты языковые способности говорящего индивидуума и чем богаче представлена сетка операций превращения концептов в языковые сущности — языковые формы с их значениями.

Определяющую роль в процессах формирования и вербализации мысли играет, по-видимому, семантический компонент языковой способности, диктующий правила распределения единиц «языка мозга» по двум каналам их возможной языковой интерпретации: синтаксическому и номинативному. Эти сущности надо называть, обозначить, упорядочить. А для этого надо выстроить их в определенной иерархии, установить отношения между ними. Один внутренний механизм речи управляет номинацией, другой — линейной разверткой речи, синтаксисом как отношениями между знаками. Номинативный компонент регламентирует поиск и выбор средств номинации, а при необходимости — и их создание, для чего существуют словообразование, фразеология, малый синтаксис, синтаксис нескольких словных наименований.

Грамматический компонент, как и фонационно-фонологический, тоже, конечно, осуществляет свою сложную работу, но в какой-то мере ее можно считать подчиненной процессам номинации и синтаксирования — деятельностью по оформлению и озвучиванию выбранных единиц. В предлагаемой модели порождения речи переход от субъективного замысла к объективным языковым значениям описывается как требующий умения построить пропозициональную схему высказывания со всеми ее разветвлениями и обозначить те величины, отношения между которыми фиксирует актуальная пропозиция, грамматически оформив все предложение в целом и все его отдельные части.

Соответственно сказанному речевая деятельность рассматривалась в настоящей книге как деятельность, в основном обуславливаемая операциями из двух сфер — номинации и синтаксиса, что близко противопоставлению предикации и номинации в семиологическом отношении [Степанов 1977, Уфимцев 1984]. Более того. Механизмы речевой деятельности рассматривались как согласующие между собой цели и результаты, задачи и средства осуществления процессов синтаксирования и процессов номинации; разные же типы речи, устанавливаемые нами в итоге исследования, выделялись именно в зависимости от того, какой из упомянутых процессов знаменовал и а ч а л о речевого акта и как они далее сочетались в изучаемом акте. Чтобы подойти к такому решению, мы должны были, определив ряд теоретических предпо-

сылку работы, остановиться более подробно на инициальных этапах речевой деятельности и на природе номинативного зачина речи.

* * *

Чтобы заговорить, надо не только хотеть общаться и мыслить, надо обладать средствами осуществления этих целей. В качестве обычного орудия общения и мышления — орудия наиболее совершенного и универсального — выступает язык. Чтобы говорить, надо овладеть в ходе онтогенетического развития определенной системой языковых знаний и языковых способностей. Перед исследователем речевой деятельности неизбежно возникает вопрос о том, как он понимает соотношение языка и речи. Различие взглядов здесь общеизвестно, и обычно определение соотносительных понятий затруднено тем, что хотя исследователю надлежит разграничить немалое количество величин и найти термины для не менее четырех-пяти сущностей, черпает он их из ограниченного инвентаря слов. В настоящей книге языком именовалась, с одной стороны, вся совокупность его разнообразных проявлений, все то, о чем можно было бы говорить как о фактах языка. В этом смысле Ф. де Соссюр использовал такое понятие речевой деятельности, которое у нас, естественно, «занято» иным содержанием, а Л. В. Щерба употреблял оборот «языковые явления». Термин «язык» в нашем употреблении оказывался поэтому гиперонимом по отношению к терминам «языковая система», «речевая деятельность», «речь» и т. п.

Речевая деятельность трактовалась широко, как охватывающая процессы говорения и слушания и как протекающая при беспрестанном чередовании и взаимодействии этих процессов. Последние изучались прежде всего в своей исполнительской части, т. е. со стороны порождения речи. Отдавая себе полный отчет в том, что роли говорящего и слушающего легко меняются и что полное представление о речевой деятельности возможно лишь при описании процессов созидания речи и процессов ее восприятия, мы все же изучали речь с позиции говорящего, уделяя внимание тому, как она планируется и реализуется ее активным исполнителем.

Речь, сообразно выбранной точке зрения, понималась узко, в буквальном смысле, как процесс говорения и создания речевых произведений, речевых высказываний в речевом акте. Она считалась поэтому особой составляющей речевой деятельности, внутренние механизмы которой могут изучаться в известной степени самостоятельно. Продукты речевой деятельности характеризовались в терминах речевых высказываний, речевых текстов. Считалось естественным, что каждый речевой акт имеет свое начало в виде первого, исходного речевого высказывания и что анализ речи следует начинать с изучения этого зачина в его глубинных — мыслительных — истоках.

Речевая деятельность противопоставлялась языку как процесс использования заранее известной абстрактной системы единиц и правил, стратегий и операций, предусматривающей их видоизменение в ходе функционирования, т. е. разрешающей выбор средств в определенном диапазоне и масштабе. В структуре речевой деятельности языковая система полагалась существующей «до» нее, но складывающейся не столько из совокупности жестко закрепленных знаков, сколько из динамических, гибких возможностей знаковых операций с ними.

Выбрав в книге такой ракурс описания речевой деятельности, который был обусловлен позицией говорящего, мы одновременно нашли возможным

соотнести эту позицию с ономасиологическим направлением анализа, логика которого состоит в выборе пути исследования «от значения к форме». Ведь говорящий идет от содержания, которое ему нужно выразить, от своих личностных смыслов к языковой форме их реализации. Значит, он проходит путь поиска адекватных средств их передачи, и его внутренние механизмы срабатывают, завершаясь созданием речевого высказывания как начала текста, как поверхностной структуры из определенной совокупности языковых форм.

Выбор таких форм происходит сообразно их функциям и значениям, и говорящий проходит, собственно, путь ономасиологического анализа — от заданных значений к средствам их выражения с помощью языка. В связи с этим и возникает вопрос о том, что же представляют собой эти задаваемые значения и как они «задаются» на стадиях, предшествующих речи. Ведь можно было бы предположить, что говорящий мыслит некими «готовыми» значениями, жестко коррелирующими с определенными языковыми формами. По-видимому, однако, связи языковых значений и языковых форм носят для субъекта более гибкий характер, да и номинация его личностных смыслов может быть в значительной мере условной — обозначением «для себя».

В настоящей книге поддерживается и развивается положение советских психологов и психолингвистов о том, что начала речи связаны с категорией личностных смыслов — тех значений, которые данный объект приобретает в деятельности человека и которые существуют в его голове в виде определенным образом организованной системы идеальных концептов, представлений и образов, лишь частично имеющих свои языковые стойкие корреляты. Внутри себя человек может оперировать ими как компонентами образного, предметного и схемно-концептуального кода (Н. И. Жинкин), как отдельными личностными смыслами, часть из которых уже имеет общепринятые обозначения, но другая часть должна получить эти обозначения в акте речи. Этот переход от личностных смыслов к общепринятым языковым формам их названия и передачи и осуществляется, на наш взгляд, с помощью категории языкового значения. Это позволяет реконструировать путь от мысли к слову поэтапно, по отдельным фазам, полагая, что экстернизация мысли проходит последовательно расположенные этапы зарождения или возбуждения неких личностных смыслов в целях их передачи другому человеку, далее — их группировки в такие пучки смыслов, которые находят соответствия в языковых значениях определенных системно отработанных, привычных языковых форм. Через категорию языковых значений личностные смыслы связываются с языковыми формами. Чтобы описать этот процесс, надо придать категориям личностных смыслов и языковых значений «орудную» интерпретацию, т. е. рассмотреть их как действенные начала и операциональные сущности.

Задолго до появления генеративной грамматики с ее центральным специализированным понятием порождения речи в советской психологической науке была выдвинута плодотворная концепция фазового, т. е. поэтапного, речепорождения, постоянного перекодирования субстрата мысли в вербальный субстрат. Мысль в этой концепции не является по отношению к речи полностью готовым образованием; глубинные структуры — это скорее замыслы с их конкретными мотивами и целями, это зародыши мысли, сгустки рождающихся и выступающих в новых комбинациях личностных смыслов. В предметно-изобразительном, образно-предметном коде намечаются основ-

ние контуры мысли, но чтобы она сформировалась окончательно, нужны языковые средства ее экстерииоризации. Роль вербального кода, возможно, составляющего тоже вместе с предметно-образным кодом то, что можно было бы назвать языком мозга, — не только в возможности сделать мысль достоянием другого человека, но и в способности языка развить и уточнить ее, совершить ее кристаллизацию. Чтобы родиться, мысли тоже надо пройти несколько этапов ее формирования, вербальных и невербальных. И хотя о превербальных этапах мы можем только догадываться благодаря интуиции и интроспекции, благодаря наблюдениям за этим процессом, основывая наблюдения на «следах» деятельности мозга в речевых высказываниях (ср. разного рода хезитации, остановки, перестройки уже начатых конструкций, повторные номинации одного объекта и т. п.), без предположений о сути этих превербальных этапов реконструкция речевой деятельности представляется неполной.

Активное состояние сознания не всегда ведет автоматически к включению речи. Целый ряд проблемных ситуаций разрешается деятельно, но без помощи языка. Мышление, протекая в основном на вербальной основе, испытывая всегда у современного взрослого нормального человека влияние языка и проходя фильтры языковых форм, может тем не менее в какие-то моменты протекать и на другой основе, а потому иметь и неязыковой, образный субстрат: на нашем внутреннем экране могут объединяться по-новому не только языковые формы, но и образы самих объектов. Решая мысленно некие задачи, человек оперирует разными типами мышления, мышление не всегда есть речевое мышление по своему реальному зачину, но оно всегда требует форм реализации для своего завершения — форм своей объективации. Типы мышления разнообразны и по-разному связаны с языком (Б. А. Серебренников, И. Н. Горелов, Ю. В. Попов и др.).

И все же особенно существен для нас не вопрос о вербальном или же не вербальном субстрате мысли — ведь вопрос этот и не может быть решен чисто лингвистически, — а вопрос о том, существует ли знак равенства между языком мозга, внутренним кодом, и кодом языковым, вербальным, внешним. По-видимому, проведение знака равенства между ними невозможно, и существующие данные свидетельствуют скорее о том, что налицо разные коды и что мышление заключается в конечном счете в оперировании их соотношением, если оно направлено активно на то, чтобы сделать его результаты достоянием другого. Важно, что язык мозга каждого человека индивидуален, ибо весь опыт человечества, в той мере, в которой он освоен данным человеком, пропущен через его собственное восприятие и осмысление мира. Как бы ни были концепты в голове человека стереотипны или близки канонам общепринятого, они все же составляют его индивидуальное достояние и потому носят в его голове социально отработанный, но личностно преломленный характер. Чтобы ознакомить с личностными смыслами другого человека, нужна категория языкового значения как закрепленного в данной языковой системе за кругом форм и затем извлеченного из них в качестве разделенного знания. Центральной проблемой перехода мысли в слово, проблемой формирования речевого высказывания и становится тогда «проблема перехода смысла в значение» [Лурия 1979, 193].

Такие переходы наблюдаются как до внешней речи, так и во время развертывания ее: мышление, начатое в довербальной стадии, сопровождается речевую деятельность на всем ее протяжении. Организация речи в виде дискурса,

цепочки сменяющих друг друга высказываний заставляет предположить, что человек может думать, не говоря, но говоря, он обязательно думает, т. е. говорит и думает одновременно. Эта возможность позволяет предположить небязательность работы сознания до речи, необязательность предварительного программирования высказывания. Спонтанная речь — доказательство либо отсутствия предварительного планирования, либо такой его молниеносной скорости, что моменты обдумывания уместаются в пробелы между высказываниями или его сегментами. Она является также доказательством того, что речь может быть мгновенной сознательной реакцией человека на происходящее и на речь другого, в частности.

Но возможен и другой ход деятельности: обдумывание речи может иметь место до внешней речи, до проговаривания. Точно так же «известность» мысли может быть разной, большей или меньшей, что зависит от ее выраженности во внутренней речи, при мышлении «про себя», при сознательных и иногда длительных поисках средств языковой реализации задуманного и составления плана и программы речи.

Уже эти общие рассуждения наводят на мысль о том, что переходы от замысла речи к ее осуществлению могут принимать разную форму и что имеет смысл попытаться создать известную типологию этих форм. Даже при интуитивном решении проблемы стоит поэтому придерживаться принципа эквивиальности. Между замыслом речи и речевым высказыванием надо попытаться поместить разные процессы — выдвинуть гипотезу о разных типах речи. В настоящей книге такая гипотеза возникает на основе предположения о возможности разных комбинаций процессов синтаксирования и номинации, а также на основе реконструкции номинативного процесса в его простейшей форме — форме «ословливания» мысли на инициальных этапах порождения речи. Такая реконструкция была впервые предпринята Л. С. Выготским, выдвинувшим понятие «внутреннего слова» как звена, служащего зачину речи и его отправному пункту. Мы пытаемся развить эти идеи Выготского и представить их лингвистическую интерпретацию.

По Выготскому, рождение речи опосредуется таким явлением, как внутренняя речь, — аморфным предвестником речи, носящим словный и предикатный характер, а потому состоящим из внутренних слов. Внутреннее слово есть прежде всего внутренний предикат, единственный языковый аналог мысли во внутренней речи. Л. С. Выготскому представлялось, что внутреннее слово выступает — будучи словом — как носитель значения и в то же время как гибкий, неустоявшийся знак со своим индивидуальным соотношением тела знака с его значением. Такое слово содержит динамические основания его дальнейшего развертывания. Как он пишет, такое слово «как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя почти безгранично рамки своего значения» [Выготский 1982, 350]. Но в таком случае слово во внутренней речи не равносильно слову с его значением в системе языка. Это и дает нам право пересмотреть концепцию Выготского с новых позиций и считать внутреннее слово носителем личностных смыслов, отличных от языковых системных значений, закрепленных за словом в системе языка именно благодаря ореолу индивидуальных ассоциаций и личностному отношению к обозначенному словом объекту.

Явления номинации оказываются при новой интерпретации идей Выготского неотъемлемой чертой доречевой деятельности уже на этапах, предшествующих внешнему высказыванию, т. е. маркирующими начало про-

цесса порождения речи на долокутивную, но уже вербальной стадии. Номинация предиката во внутренней речи — зародыш будущего высказывания. Эта номинация, условная, необходимая для самого себя для обозначения целой ситуации, должна быть впоследствии не только развернута в синтаксическое целое, — она должна пройти определенную проверку на предмет ее соответствия системной номинации описываемых объектов. Номинация личностных смыслов должна смениться номинацией пучка языковых значений; личностные смыслы «переводятся» на языковые значения, перекодируются на общепринятые языковые формы. Условная номинация сменяется понятной для другого человека.

Чтобы слово всплыло на поверхность во внутренней речи, оно должно иметься в его памяти. Внутреннее слово закрепляет поток ассоциаций, концентрирует внимание на определенной совокупности образов и представлений и дает им обозначение. Теперь надо проверить, подходит ли эта условная номинация для фиксации всего комплекса идей и в каком отношении она должна быть развита и дополнена. Выбранная номинация как бы свертывается со словом в его системном статусе. С другой стороны, слово, всплыв на поверхность сознания, начинает «вытягивать» именно системно релевантные для него общепринятые ассоциации и связи, т. е. становится толчком к обогащению мысли, помогает ее формированию. Найденное слово либо переходит во внешнее высказывание, становясь представителем какого-либо компонента рождающегося высказывания, а тем самым приобретая синтаксические характеристики, либо заменяется более подходящей номинативной единицей. Естественно, что номинация всего сообщаемого таким внутренним словом становится подлинным началом речи, а от того, какому члену предложения она будет соответствовать далее, субъекту или предикату, тематическому или рематическому элементу и т. п., зависят разные типы речи: топикальный (от обозначения топика), рематический (от обозначения предиката как ремы будущего высказывания), пропозициональный (от обозначения ядра пропозиции) и т. п. Можно сказать, что внутреннее слово имеет векторную направленность, участвуя далее в формировании субъекта или предиката, топика или коммента, актантов или же сирконстантов предложения.

Модель Выготского была преимущественно «словной». Она относилась к характеристике процесса порождения на участке между словом внешним и словом внутренним и учитывала роль словесного (лексического) значения в этом процессе. Но намеченный им путь рождения высказывания не был единственно возможным. К тому же оперирование словесными знаками не может быть сведено к процессам номинации, а оперирование словесными значениями не исчерпывает никак складывание значения предложения. Все это побудило нас дополнить принципы речевой деятельности, установленные в школе Выготского — Лурия, идеями семантического синтаксиса, полагая, что они могут быть с успехом использованы для характеристики другой — сентенциональной — стороны порождения речи.

Выдвигая положение о том, что определяющую роль в порождении речи играет семантический компонент, и полагая диапазон его действия не исчерпывающимся оперированием лексическими значениями, мы уже не могли связывать перекодирование личностных смыслов в языковые значения исключительно с процессами «ословливания». Такое сужение мы считали неоправданным как потому, что в качестве единиц номинации, всплываю-

щих в мозгу говорящего или создаваемых им заново, мы не могли рассматривать одни слова, так и потому, что процесс порождения речи не сводится к процессам номинации как таковым. Достижения генеративной грамматики были связаны прежде всего с доказательством того неоспоримого факта, что в формировании предложения огромную роль играет создание синтаксической конструкции, его синтаксической схемы, его пропозиции, создание сетки особых отношений между словами и т. п.

Признание того, что семантика предложения возникает как следствие установления неких синтаксических связей между включаемыми в него единицами и одновременно как результат преобразования лексических значений этих единиц при их комбинаторике, сделало почти общепризнанным положение о том, из чего складывается значение предложения, и о том, что оно не может быть сведено к сумме составляющих его лексических значений. В порождении речи надо было найти место возникновению синтаксических значений и их согласованию с другими типами реализующихся здесь значений.

Расширенное толкование семантического компонента в порождении речи означает нахождение места не только процессам номинации, но и процессам синтаксирования. Двумя главными механизмами распределения смыслов по языковым значениям мы и считаем номинативный и синтаксический. Механизм синтаксирования управляет прежде всего созданием линейной схемы развертывания синтаксической конструкции, оформлением пропозиции со всеми ее уточнителями; он ведает распределением синтаксических ролей выбранных в предречи обозначений, их функциональной нагрузкой при определении актуального членения предложения и т. д. Механизм номинации, с другой стороны, управляет поисками надлежащих единиц номинации, черпаемых из лексикона говорящего, их выбором из арсенала системно организованных средств, а при необходимости и их созданием по действующим в системе языка правилам. В самом общем виде можно сказать, что он приводит в движение всю гибкую систему номинации, прокладывая дорогу операции соединения выбранных значений с «телами» знаков разной структуры и протяженности.

Если в работах советских психолингвистов большее значение уделялось «словной» модели порождения речи, представители генеративной грамматики в разных ее версиях внесли свой вклад в обоснование сентенциальных моделей порождения речи, имевших по преимуществу синтаксический характер. Здесь нередко утверждалось, что основное в порождении речи — это формирование синтаксической схемы предложения, которая постепенно заполняется необходимыми лексическими единицами. В моделях этого типа роль процессов номинации в значительной мере игнорировалась. На современном этапе развития нашей науки наступило время для синтеза идей указанных направлений, для интеграции сведений, полученных при подходе к процессам речепорождения с разных сторон. В модели такого типа процессы синтаксирования и процессы номинации, выработки пропозиционального начала и обозначения членов пропозиции, должны рассматриваться в их постоянном взаимодействии и согласовании. Попытки создания такой модели и представлены в настоящем исследовании.

Проблемами, тесно связанными с определением речевой деятельности, являются проблемы о сущности и природе творческого начала в этой деятельности. Если речь отражает мысль человека и формирует ее, то вопрос заклю-

чается прежде всего в том, как рождаются в голове новые смыслы, какая операция составляет основу их возникновения. Мы полагаем, что речь человека неповторима потому, что человек в своей предметно-познавательной или практической деятельности отражает действительность, устанавливая новые отношения и связи между определенными объектами. Как замечательно сказал А. А. Шахматов, «простейшая единица мышления, простейшая коммуникация состоит из сочетания двух представлений, приведенных движением воли в предикативную ... связь» [Шахматов 1941, 19]. Ситуативная обусловленность речевого акта проявляется в том, что в его истоках стоит важное для данного момента связывание двух сущностей, одна из которых рассматривается как известная, данная, другая же — как характеризующая ее, новая. Предмет мысли получает определение благодаря приписыванию ему какого-либо признака, аргументам приписываются их функции, топик комментируется, акт предикации связывает воедино разъединенные до того времени величины. Творчество — в установлении новых отношений, в экспликации этого отношения с помощью пропозиции и актуализируемой предикативной конструкции, в создании предложения, выделяющего осмысленный человеком тип отношения.

Творческий характер процесса речевой деятельности определяется не только оригинальностью и неповторимостью человеческих идей, но и способностями человека облечь его мысли в разные языковые формы, сформулировать их в более или менее ясном виде, выбрав более или менее адекватные единицы из существующего арсенала средств. Членение описываемой ситуации и отражение этого членения в рамках предложения есть главным образом выделение релевантных для нее типов отношений и связей и, соответственно, адекватное их отражение языковыми средствами, главным образом актом предикирования.

В акте предикирования часть личностных смыслов уже распределена в виде фиксируемых этим актом отношений, часть — в виде обозначений элементов предикативной конструкции. Мысль человека может двигаться от обозначения объекта к обозначению его признака, может — от одновременного обозначения величин, связь между которыми формируется в виде пропозиции, может — от обозначения самого предиката, диктующего далее появление связанных с ним аргументов. Творческое начало в речи — в выборе лексической единицы, которая «тянет» за собой определенную синтаксическую конструкцию, или же, наоборот, в выборе пропозиции, которая может быть заполнена разными единицами номинации. Творческое начало — в возможности следовать разным принципам организации речи, в возможности использовать разные пути формирования мысли, начиная от самых стереотипных, кончая самыми неожиданными и оригинальными. Творческое начало — в переборе разных возможностей и выборе оптимальной для данного случая. Все это и порождает разные модели объективации мысли, разные модели речевых актов, разные пути перехода от мысли к слову.

Доказательства существования разных типов речи, в одних из которых номинация опережает синтаксирование и предикирование, и других, в которых, напротив, создание синтаксической схемы будущего высказывания опережает заполнение ее конкретными единицами номинации, можно видеть в разнообразных фактах онтогенеза детской речи, в наблюдениях за материалами разговорной и поэтической речи, в явлениях, зафиксированных в патологии речи, в эксперименте. Предлагаемый в работе перечень разных типов

речи не является конечным или окончательным. В этой работе все носит поисковый характер и все мыслится лишь как направленное на то, чтобы проложить пути новых решений, наметить возможности исследований, выполняемых в новом и непривычном русле, поставить ряд проблем, никак не претендуя на окончательность решений, но лишь настаивая на их важности.

Завершая книгу, логично поставить вопрос о том, что же дает изучение речевой деятельности и ее номинативного компонента? Хочется отметить, что последствия такого анализа весьма разнообразны. Говорит человек. Исследование того, как он это делает, не просто вовлекает в лингвистический анализ человеческий фактор и заставляет учитывать творческое начало в любой осуществляемой человеком деятельности, а следовательно, сложность ее структуризации. Восстанавливая процесс порождения речи с позиции говорящего, мы вынуждены пересмотреть в этом свете назначение всех языковых подсистем, всех его единиц и правил. В идеале человеком используются в речевой деятельности все возможности языковой системы, и каждый ее элемент должен быть охарактеризован по его участию в процессе речи. Изучение этого процесса помогает поэтому понять не только строение внутренних механизмов речи, в том числе и механизма номинации. Оно позволяет осмыслить, почему мы вынуждены специально выделить этот механизм и говорить об особом номинативном компоненте в системе языка и речевой деятельности, несмотря на то, что в самой этой системе отдельного уровня номинации как будто бы и нет.

Организованный по принципу объединения всех средств, служащих наречению фрагментов мира в отдельном языке, номинативный компонент существует тем не менее как единое целое, связывая в один узел лексикон и малый синтаксис, словообразование и фразеологию, демонстрируя единицы номинации разной протяженности и разного уровняго статуса или же служа их созданию. В таком своем качестве он предусматривает необходимость безграничного расширения номинативных возможностей и обеспечивает реализацию любых замыслов говорящего в актах речи. Он позволяет говорящему мобилизовать знание языка при решении им номинативных задач и предоставляет в его распоряжение богатейшую систему средств номинации со всей ее гибкой и сложной «типологией типологий» [Гак 1977, 242; ЯН I и ЯН II].

Изучение актов номинации в их неразрывной связи с грамматическим структурированием и синтаксированием позволяет также искать в исследовании речевой деятельности ответ на вопрос о более общих принципах устройства языковых систем, о сущности и задачах главных компонентов языковой способности и их иерархии, их конкретной роли в функционировании языка, наконец, об основных представленных здесь языковых категориях. Особенно хотелось бы подчеркнуть в этой связи важность операций со знаками и особую роль в порождении речи категории языкового значения.

Поступая первоначально в голову человека «извне», языковые значения, сперва ассоциируясь с определенными «телами» знаков, могут затем начать новую жизнь в психике и интеллекте человека в виде идеальных сущностей — концептов, частично уже освобожденных от их словесной оболочки. Обобщаясь и абстрагируясь от своих носителей, языковые значения могут, по-видимому, выступать как связываемые с вербальными формами их выражения, так и частично вне такой связи. Концепты, отражая весь опыт человечества,

в голове человека постоянно пропускаются через призму его собственного опыта, полученного в ходе предметно-практической и познавательной деятельности. В концептуальной системе человека многие концепты обретают свое поле ассоциаций и коннотаций. В актах мышления в движение приводится часть этой системы, и человек оперирует концептами уже как личностными смыслами. Чтобы сделать свою мысль достоянием другого, человек должен облечь ее в вербальную форму. Категория языкового значения им используется теперь как подспорье в поисках передающих его языковых форм, т. е. вызывая ассоциации от значения к форме.

Таким образом, восстанавливая процесс речевой деятельности и делая его предметом специального анализа, мы неминуемо выходим к его истокам и приходим к определению этой деятельности как речемыслительной. Исследование порождения речи, важное, разумеется, и само по себе, становится вместе с тем ключом к объяснению не только того, как человек говорит, но и того, как он думает и мыслит.

ЛИТЕРАТУРА

- Ленин В. И.* Полное собрание сочинений. Т. 18
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2, 3, 20, 23.
Абрамов Б. А. Типология элементарного предложения в современном немецком языке. М., 1972.
Абрамов Б. А. О моделировании семантических структур.— В кн.: Значение и смысл речевых образований. Калинин: КГУ, 1979, с. 5—13.
Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит. 1975. 559 с.
Андреев Н. Д., Зиндер Л. Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности, языка.— ВЯ, 1963, № 3, с. 15—21.
Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974. 367 с.
Арутюнова Н. Д. Синтаксис.— В кн.: Общее языкознание: Внутренняя структура языка. М.: Наука, 1972, с. 259—343.
Арутюнова Н. Д. О номинативном аспекте предложения.— ВЯ, 1976, № 6.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976. 383 с.
Ахутина Т. В., Наумова Т. Н. Смысловый и синтаксический синтаксис: детская речь и концепция Л. С. Выготского.— В кн.: Психолингвистические проблемы семантики. М.: Наука, 1983, с. 196—208.
Бархударов Л. С. Истоки, принципы и методология порождающей грамматики.— В кн.: Проблемы порождающей грамматики и семантики: Реф. сб. М.: ИНИОН, 1976, с. 5—32.
Бархударов Л. С. Проблема предложения в трактовке различных грамматических направлений.— ВЯ, 1976, № 3, с. 89—100.
Барченкова М. Д. Смысловое представление предложения в трансформационной порождающей грамматике.— В кн.: Проблемы порождающей грамматики и семантики. М.: ИНИОН, 1976, с. 33—58.
Блыгина Т. В. Проблемы теории морфологических моделей. М.: Наука, 1977. 287 с.
Бенвенист Э. Именное предложение.— В кн.: Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974, с. 167—184.
Бирвиш М. Семантика.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, М.: Прогресс, 1981, вып. X, с. 177—199.
Бондарко А. В. Понятийные категории и языковые семантические функции в грамматике.— В кн.: Универсалии и типологические исследования. М.: Наука, 1974, с. 54.
Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. Л.: Наука, 1978. 175 с.
Бондарко А. Ф. Функциональная грамматика. Л.: Наука, 1984. 136 с.
Брудный А. А. Значение слова и психология противопоставлений.— В кн.: Семантическая структура слова. М.: Наука, 1971, с. 19—26.
Брудный А. А., Сыдыкбекова Д. С. Общение и деятельность.— В кн.: Эргономика. М., 1976 (Тр. ВНИИТЭ; Вып. X), с. 136—147.
Брунер Дж. С. Онтогенез речевых актов.— В кн.: Психолингвистика. М.: Прогресс, 1984, с. 21—49.
Вежбицка А. Из книги «Семантические примитивы».— В кн.: Семантика. М.: Радуга, 1983, с. 225—252.
Вейнрейх У. Опыт семантической теории.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1981, вып. X, с. 50—176.

- Верецагин Е. М.* Порождение речи: латентный процесс: (Предвар. сообщ.). М.: Изд-во МГУ, 1968. 91 с.
- Виноградов В. В.* Русский язык. 2-е изд. М., 1972, 613 с.
- Вошин Я. М.* Трансформационный синтаксис глагольных конструкций современного английского языка. Минск: Вышэйш. шк., 1983, 120 с.
- Воронович Б. А., Плетнев Ю. К.* Категория деятельности в историческом материализме. М.: Знание, 1975. 64 с.
- Выготский Л. С.* Избранные психологические исследования. М., 1956. 519 с.
- Выготский Л. С.* Развитие высших психических функций. М., 1960, 500 с.
- Выготский Л. С.* Из неизданных материалов.— В кн.: Психология грамматики. М.: Изд-во МГУ, 1968, с. 182—192.
- Выготский Л. С.* Мышление и речь.— Собр. соч. М.: Педагогика, 1982, т. II.
- Гак В. Г.* Высказывание и ситуация.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики, 1972. М.: Наука, 1973.
- Гак В. Г.* К типологии лингвистических номинаций.— В кн.: Языковая номинация: Общ. вопр. М.: Наука, 1977.
- Гальперин П. Я.* Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления.— ВФ, 1977, № 4.
- Гальперин П. Я.* Введение в психологию. М., 1978.
- Голод В. И., Шахнарович А. М.* Семантические аспекты порождения речи.— Изв. АН СССР. СЛЯ, 1981, т. 40, № 3; 1982, т. 41, № 3.
- Горелов И. Н.* Проблема функционального базиса речи в онтогенезе. Челябинск, 1974. 115 с.
- Горелов И. Н.* Проблема «глубинных» и «поверхностных» структур в связи с данными психолингвистики и нейрофизиологии.— Изв. АН СССР. СЛЯ, 1977, т. 37, № 2, с. 165—176.
- Горелов И. Н.* Невербальные компоненты коммуникации. М.: Наука, 1980. 104 с.
- Грин Дж.* Психолингвистика.— В кн.: Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М.: Прогресс, 1976, с. 221—332.
- Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков.— В кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М.: Учпедгиз, 1960, ч. 1, с. 68—86.
- Демьянков В. З.* «Субъект», «тема», «топик» в американской лингвистике последних лет.— Изв. АН СССР. СЛЯ, 1979, т. 38, № 4, с. 368—380.
- Долинина И. Б., Балонюс Л. Я., Деглин В. Л.* Особенности установления семанто-синтаксических отношений между единицами языка в условиях преходящей инактивации доминантного и недоминантного полушарий.— В кн.: Тез. VI Всесоюз. симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М.; 1978, с. 58—60.
- Есперсен О.* Философия грамматики: Пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. 404 с.
- Жинкин Н. И.* Развитие письменной речи у учащихся III—VII классов.— Изв. АПН РСФСР, 1956, вып. 78.
- Жинкин Н. И.* Механизмы речи. М., 1958, 370 с.
- Жинкин Н. И.* О кодовых переходах во внутренней речи.— ВЯ, 1964, № 6, с. 26—38.
- Жинкин Н. И.* Ответ на письмо С. Л. Бурштейн.— Иностр. яз. в шк., 1966, № 2.
- Жинкин Н. И.* Внутренние коды языка и внешние коды речи.— In: In honour Roman Jakobson. P.: Mouton, 1967.
- Жинкин Н. И.* Грамматика и смысл.— В кн.: Язык и человек. М.: Изд-во МГУ, 1970, с. 63—85.
- Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982, 157 с.
- Зайдель Э.* Лексическая организация и правое полушарие.— В кн.: Нейропсихология: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984, с. 137—141.
- Залевская А. А.* Вопросы организации лексикона человека в лингвистических и психологических исследованиях. Калинин, 1978.
- Залевская А. А.* О теоретических основах исследования принципов организации лексикона человека.— В кн.: Этнопсихологические проблемы семантики. М., 1978, с. 4—39.
- Звегинцев В. А.* Язык и лингвистическая теория. М.: Изд-во МГУ, 1973. 248 с.
- Звегинцев В. А.* Предложение и его отношение к языку и речи. М.: Изд-во МГУ, 1976. 307 с.
- Звегинцев В. А.* Социальное и лингвистическое в социолингвистике. Изв. АН СССР. СЛЯ, 1982, т. 41, № 3.

Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. М.: Просвещение, 1978. 159 с.

Зимняя И. А. Речевая деятельность: язык и речь.— Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза, М., 1981, вып. 170 (Лингвистика и методика в высшей школе; X).

Зинченко В. П., Муншилов В. М. Эргономика и проблемы комплексного подхода к изучению трудовой деятельности.— В кн.: Эргономика. М., 1976, с. 28—59. (Тр. ВНИИТЭ; Вып. X).

Ильенков Э. В. Соображения по вопросу об отношении мышления и языка (речи).— ВФ, 1977, № 6.

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976. 355 с.

Кацнельсон С. Д. Порождающая грамматика и процесс синтаксической деривации.— In: Progress in Linguistics/Ed. M. Bierwisch, K. E. Heidolph. The Hague; Paris: Mouton, 1970, p. 102—113.

Кацнельсон С. Д. Глубинные синтаксические структуры и семантические основания процессов речевой деятельности.— In: Prepr. pap. for 11th Intern. Congr. linguist. Bologna, 1972.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972. 216 с.

Кацнельсон С. Д. Речемыслительные процессы.— ВЯ, 1984, № 4, с. 3—12.

Киселева Л. Л. Вопросы теории речевого воздействия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 160 с.

Клименко А. П. Лексическая системность и ее психолингвистическое изучение. Минск, 1974. 108 с.

Клименко А. П. Психолингвистика. Минск, 1982. 100 с.

Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М.: Наука, 1975. 231 с.

Колшанский Г. В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976, с. 5—81.

Колшанский Г. В. Компоненты структуры текста.— Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза, М.: 1981, вып. 170, с. 3—12 (Лингвистика и методика в высшей школе; X).

Колшанский Г. В. Коммуникативные основы адекватной интерпретации семантики текста.— В кн.: Содержательные аспекты предложения и текста. Калинин: КГУ, 1983.

Кон И. С. Люди и роли.— Новый мир, 1970, № 2.

Коршунов А. Л. Отражение, деятельность, познание. М.: Госполитиздат, 1979. 216 с.

Котов Р. Г., Новиков А. И. Предисловие.— В кн.: Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982, с. 3—11.

Кривченко Е. Л. Номинативный аспект предложения. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982, 146 с.

Криштогурьян Н. Г. Категория деятельности в системе научных понятий.— В кн.: Эргономика. М., 1976, с. 9—27. (Тр. ВНИИТЭ; Вып. X).

Крымский С. Б. Философско-гносеологический анализ специфики понимания.— В кн.: Понимание как логико-гносеологическая проблема. Киев: Наук. думка, 1982, с. 24—42.

Кубрякова Е. С. Об определении границ ономаσιологических исследований.— Науч. тр. Курск. пед. ин-та, 1975, т. 175, с. 23—26.

Кубрякова Е. С. Текст и синхронная реконструкция словообразовательного акта.— Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза, 1976, вып. 103, с. 23—32.

Кубрякова Е. С. Части речи в ономаσιологическом освещении. М.: Наука, 1978. 115 с.

Кубрякова Е. С. Словообразование как особый вид речевой деятельности.— В кн.: Словообразование и фразообразование: Тез. докл. науч. конф. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1979, с. 48—51.

Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности и словообразование как его важнейший компонент.— Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза, 1980, вып. 164, с. 40—47.

Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М.: Наука, 1981. 200 с.

Кубрякова Е. С. О номинативном компоненте речевой деятельности.— ВЯ, 1984, № 4, с. 13—22.

Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978, 543 с.

Лекторский В. А., Шавырев В. С. Диалектика практики и теории.— ВФ, 1981, № 11, с. 12—24.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М.: Наука, 1965. 245 с.

Леонтьев А. А. Объект и предмет психолингвистики и ее отношение к другим наукам о речевой деятельности.— В кн.: Теория речевой деятельности. М.: Наука, 1968, с. 14—36.

Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969. 307 с.

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214 с.

Леонтьев А. А. Психофизиологические механизмы речи.— В кн.: Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. М.: Наука, 1970, с. 314—370.

Леонтьев А. А., Рябова Т. В. Фазовая структура речевого акта и природа планов.— В кн.: Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970, с. 27—32.

Леонтьев А. А. Психологическая структура значения.— В кн.: Семантическая структура слова. М.: Наука, 1971, с. 7—19.

Леонтьев А. А. К психологии речевого воздействия.— В кн.: Материалы IV Всесоюз. симпоз. по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1972, с. 28—41.

Леонтьев А. А. От редактора: [Предисловие] — В кн.: *Слобин Д., Грин Дж.* Психолингвистика. М.: Прогресс, 1976, с. 5—23.

Леонтьев А. А. Формы существования значения.— В кн.: Психолингвистические проблемы семантики. М.: Наука, 1983, с. 5—20.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959. 495 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Госполитиздат, 1977. 304 с.

Ломов Б. Ф. Категории общения и деятельности в психологии.— ВФ, 1979, № 8.

Лурия А. Р. Проблемы и факты нейролингвистики.— В кн.: Теория речевой деятельности. М.: Наука, 1968, с. 198—219.

Лурия А. Р. Язык и сознание. М.: Изд-во МГУ, 1979. 319 с.

Лурия А. Р. Послесловие.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч. М., 1982, т. II, с. 466—479.

Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики.— В кн.: Нейропсихология. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984, с. 127—137.

Лурия А. Р., Хаттон Дж. Т. Современная оценка основных форм афазии.— В кн.: Нейропсихология: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1968, с. 118—127.

Лурия А. Р., Цветкова Л. С. Нейропсихологический анализ предикативной структуры высказывания.— В кн.: Теория речевой деятельности. М.: Наука, 1968, с. 219—233.

Мак-Коли Дж. Д. О месте семантики в грамматике языка.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1981, вып. X, с. 235—301.

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 436 с.

Менг К. Семантические проблемы лингвистического исследования коммуникации.— В кн.: Психолингвистические проблемы семантики. М.: Наука, 1983, с. 221—240.

Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения: Пер. с англ. М., 1958.

Мороховская Э. Я. Семантические факторы, обуславливающие функционирование комплементаторов глагола.— В кн.: Проблемы значения языкового знака. Киев: КГПИИЯ, 1982, с. 56—62.

Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. М.: Высш. шк., 1974. 155 с.

Мурзин Л. Н. О деривационных механизмах текстообразования.— В кн.: Теоретические аспекты деривации. Пермь: ПГУ, 1982, с. 20—29.

Назаретян А. П. К дискуссии о деятельности и общении.— В кн.: Проблемы организации речевого общения. М.; 1981, с. 9—18.

Нарский И. С. Критика неопозитивистских концепций значения.— В кн.: Проблема значения в лингвистике и логике. М., 1963, с. 13—20.

Никитевич В. М. Словообразование и деривационная грамматика. Гродно. Ч. 1. 1980; Ч. 2. 1982. 94 с.

Новиков Л. А. Семантика русского языка. М.: Высш. шк., 1982.

Норман Б. Ю. Синтаксис речевой деятельности. Минск: Вышэйш. шк., 1978. 151 с.

Норман Б. Ю. Лексический стимул и структура порождаемого высказывания.— Весн. Беларус. дзяржаун. унів. Сер. IV, 1983, № 3, с. 41—45.

Общее языкознание/Под ред. А. Е. Супруна. Минск: Вышэйш. шк., 1983. 456 с.

- Павилёнис Р. И.* Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. М.: Мысль, 1983. 286 с.
- Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М.: Наука, 1977. 287 с.
- Петренко В. Ф.* Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М.: Изд-во МГУ, 1983, 175 с.
- Пименов А. В.* Об отношении речи к другим видам человеческой деятельности.— В кн.: Психолингвистические и социолингвистические детерминанты речи. М.: 1978, с. 26—33.
- Полякова Л. В.* Аспекты словообразовательной комбинации. Саратов; Изд-во Саратов. ун-та, 1982. 44 с.
- Понимание как логико-гносеологическая проблема. Киев: Наука. думка, 1982. 272 с.
- Попов Ю. В., Трегубович Т. П.* Текст: структура и семантика. Минск, 1984.
- Понович М. В.* Понимание как логико-гносеологическая проблема.— В кн.: Понимание как логико-гносеологическая проблема, с. 5—23.
- Постовалова В. И.* Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В.-Гумбольдта. М.: Наука, 1982. 222 с.
- Ревзин И. И.* Метод моделирования и типология славянских языков. М.: Наука, 1967. 299 с.
- Роговин М. С., Соловьев А. В., Урванцев Л. П., Шотемар Ш. Ш.* Структура психики и проблемы познания.— ВФ, 1977, № 4, с. 75—82.
- Ромашко С. А.* Язык как деятельность и лингвистическая прагматика.— В кн.: Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М.: ИНИОН, 1984, с. 137—145.
- Ротенберг В. С.* Слово и образ: проблемы контекста.— ВФ, 1980, № 4, с. 152—154.
- Ротенберг В.* Мозг и мышление: в поисках своего «я».— Знание — сила, 1984, № 5, с. 8—9.
- Рубинштейн С. Л.* Основы общей психологии. М., 1940.
- Рубинштейн С. Л.* Бытие и сознание: О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М., 1957.
- Рябова Т. В.* Механизм порождения речи по данным афазии.— В кн.: Вопросы порождения речи и обучения языку. М.: Изд-во МГУ, 1967, с. 76—94.
- Рябова Т. В., Штерн А. С.* К характеристике грамматического структурирования.— В кн.: Психология грамматики. М.: Изд-во МГУ, 1968, с. 78—95.
- Сахарный Л. В.* Словообразование в речевой деятельности: Автореф. дис...-др филол. наук. Л.: ЛГУ, 1980. 48 с.
- Сахарный Л. В.* К тайнам мысли и слова. М.: Просвещение, 1983. 159 с.
- Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983. 319 с.
- Скребнев Ю. М.* Некоторые типы синтаксических отношений, выделяемых по функциональному признаку.— Учен. зап. Башк. ун-та, 1964. вып. 21. Сер. филол. наук. Докл. и сообщ. № 9, с. 69—76.
- Слобин Д., Грин Дж.* Психолингвистика. М.: Прогресс, 1976. 350 с.
- Слюсарева Н. А.* Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М.: Наука, 1975. 112 с.
- Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М.: Наука, 1981. 206 с.
- Соболева П. А.* Место семантического компонента в трансформационной порождающей грамматике.— В кн.: Проблемы порождающей грамматики и семантики. М.: ИНИОН, 1976, с. 59—63.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики.— В кн.: *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 274 с.
- Степанов Ю. С.* Семантическая структура языка (три функции и три формальных аппарата языка).— Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1973, т. 32, вып. 3, с. 340—355.
- Степанов Ю. С.* Номинация, семантика, семиология.— В кн.: Языковая номинация. I. Общие вопросы. М.: Наука, 1977, с. 294—358.
- Степанов Ю. С.* Имена. Предикаты. Предложения. М.: Наука, 1981. 360 с.
- Степанов Ю. С., Эдельман Д. И.* Семиологический принцип описания языка.— В кн.: Принципы описания языков мира. М.: Наука, 1976, с. 203—281.
- Супрун А. Е.* Лекции по лингвистике. Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1980. 142 с.
- Сусов И. П.* Семантическая структура предложения. Тула, 1973. 141 с.

- Сусов И. П.* Семантика и прагматика предложения. Калинин: КГУ, 1980. 51 с.
- Тарасов Е. Ф.* К построению теории речевой коммуникации.— В кн.: *Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М.* Теоретические и практические проблемы речевого общения. М.: Наука, 1979. 147 с.
- Тезисы Пражского лингвистического кружка.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967, с. 17—41.
- Телия В. Н.* Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М.: Наука, 1981. 269 с.
- Титоне Р.* Некоторые эпистемологические проблемы психолингвистики.— В кн.: Психолингвистика. М.: Прогресс, 1984, с. 336—352.
- Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М.: Наука, 1975, 206 с.
- Уфимцева А. А.* Семантика слова.— В кн.: Аспекты семантических исследований. М.: Наука, 1980, с. 5—80.
- Уфимцева А. А.* Семнологический подход к изучению лексики.— Изв. АН СССР. СЛЯ, 1984, т. 43, № 5, с. 428—442.
- Фрумкина Р. М.* «Язык и мышление» как проблема лингвистического эксперимента.— Изв. АН СССР. СЛЯ, 1981, т. 40, № 3, с. 225—236.
- Хоккет Ч.* Грамматика для слушающего.— В кн.: Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1965, вып. IV, с. 139—166.
- Хомский Н.* Синтаксические структуры.— В кн.: Новое в лингвистике. М.: Изд-во иностр. лит., 1962, Вып. II, с. 412—527.
- Хомский Н.* Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972. 121 с.
- Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М.: Прогресс, 1975. 432 с.
- Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941. 620 с.
- Шахнарович А. М.* Психолингвистические проблемы овладения общением в онтогенезе.— В кн.: *Сорокин Ю. С., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М.* Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М.: Наука, 1979, с. 148—233.
- Шахнарович А. М.* Исследования синтаксиса детской речи и идея Л. С. Выготского о семантическом синтаксировании.— В кн.: Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. М.: Изд-во АПН СССР, 1981, с. 166—168.
- Шахнарович А. М.* Семантический компонент языковой способности.— В кн.: Психолингвистические проблемы семантики. М.: Наука, 1983, с. 181—279.
- Шахнарович А. М., Лендел Ж.* «Естественное» и «социальное» в языковой способности человека.— Изв. АН СССР, СЛЯ, 1978, т. 37, № 3, с. 240—250.
- Шведова Н. Ю.* О соотношении грамматической и семантической структуры предложения.— В кн.: Славянское языкознание. М., 1973, с. 458—483.
- Ширяев А. Ф.* К вопросу о понятии «речевая деятельность».— В кн.: Психолингвистические исследования. М., 1978, с. 6—24.
- Шерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.
- Юдин Э. Г.* Понятие деятельности как методологическая проблема.— В кн.: Эргономика. М., 1976, с. 81—89. (Тр. ВНИИТЭ; вып. X)
- Юдин Э. Г.* Предисловие.— В кн.: Эргономика. М., 1976, с. 5—8. (Тр. ВНИИТЭ; Вып. X).
- Юрченко В. С.* О внеязыковой основе предложения.— В кн.: Синтаксическая семантика и прагматика. Калинин: КГУ, 1982, с. 48—55.
- Языковая номинация. I. Общие вопросы. М.: Наука, 1977.— То же. II. Виды наименований. М., 1977.
- Ярошевский М. Г.* О трех способах интерпретации научного творчества.— В кн.: Научное творчество. М.: Наука, 1969, с. 95—142.
- Ярошевский М. Г.* Специфика детерминации психических процессов.— ВФ, 1972, № 1, с. 94—105.
- Bates E.* Language and context. The acquisition of pragmatics. N. Y.: Acad. press, 1976. 375 p.
- Beard R.* The Indo-European lexicon. A full synchronic theory. Amsterdam; New York, 1981. 390 p.
- Bever Th. G.* Associations to stimulus-response theories of language.— In: Verbal behaviour and general behaviour theory. N. Y.: Prentice Hall, 1968, p. 478—494.
- Bierwisch M.* Generative grammar in European linguistics.— In: Generative grammar in Europe. Dordrecht: Reidel, 1973, p. 69—111.
- Bierwisch M.* Semantische und konzeptuelle Repräsentationen lexikalischer Einheiten.— In: Untersuchungen zur Semantik. B., 1983, S. 61—99. (Studia grammatica; Bd. XXII).

- Burckhart Chr.* Bedeutung und Satzgrammatik. Tübingen: Narr, 1980.
- Chomsky N.* On the notion rule of grammar.— In: Proceedings of symposia in applied mathematics. Providence, 1961, vol. 12, p. 6—24.
- Dornseiff F.* Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 5. Aufl. B., 1959. 922 S.
- Dowty D. R.* Applying Montague's views on linguistic metatheory to the structure of the lexicon.— In: Papers from the parasession on the lexicon. Chicago: Chicago Linguistic Soc., 1978, S. 67—137.
- Ducrot O.* Stktukturalisme; enonciation et semantique.— *Poetique*, 1978, N 3, p. 107—125.
- Fodor Janet Dean.* Semantics: theories of meaning in generative grammar. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. press, 1980. 225 p.
- Fodor J. A., Jenkins J. J., Saporta S.* Psycholinguistics and communication theory.— In: Human communication theory. N. Y., 1967, p. 160—201.
- Garrett M., Fodor J.* Psychological theories and linguistic constructs.— In: Verbal behavior and general behavior theory. N. Y.: Prentice Hall, 1968, p. 451—477.
- Givon T.* On understanding grammar. N. Y.; L.: Acad. press, 1979. 379 p.
- Harmon G. H.* Psychological aspects of the theory of syntax.— *J. Philosophy*, 1967, vol. 44, N 2.
- Harris R.* The speech-communication model in 20th century linguistics and its sources.— In: Proc. of the XIIIth Intern. Congr. of Linguists. Tokyo, 1983, p. 864—869.
- Jackendoff R.* On Katz's autonomous semantics.— *Language*, 1981, vol. 57, N 2.
- Katz J. J., Fodor J. J.* The structure of semantic theory.— *Language*, 1963, vol. 39, N 2, p. 170—210.
- Katz J. J.* Semantic theory. N. Y.: Harper, 1972. 464 p.
- Katz J.* Chomsky on meaning.— *Language*, 1980, vol. 56, N 1, p. 1—42.
- Kempson R. M.* Semantic theory. L.; N. Y.: Cambridge Univ. press, 1977. 216 p.
- Kintsch W.* Memory and cognition. N. Y.: Wiley, 1977. 411 p.
- Lakoff G.* On generative semantics.— In: Semantics. Cambridge (Mass.): Univ. press, 1971, p. 232—296.
- Levelt W. J. M.* The speaker's organization of discourse.— In: Proc. of the XIIIth Intern. Congr. of Linguists. Tokyo, 1983, p. 278—290.
- Levi J. N.* The syntax and semantics of complex nominals. N. Y.: Acad. press, 1978. 301 p.
- Malinowski B.* The problem of meaning in primitive languages.— In: *Ogden C. K., Richards I. A.* The meaning of meaning. 10th ed. L., 1949, p. 296—336.
- Meaning and understanding/Ed. H. Parret, J. Bouveresse. B.: De Gruyter, 1981. 442 p.
- Mey J.* Introduction.— In: Pragmalinguistics. Theory and practice. Hague; Paris: Mouton, 1979, p. 9—22.
- Narasimhan R.* Modelling language behavior. B. etc.: Springer, 1981. 217 p.
- Newmeyer F. J.* Linguistic theory in America. N. Y., 1980. 290 p.
- Noordman-Vonk W.* Retrieval from semantic memory. N. Y.: Springer, 1979. 97 p.
- Oksaar E.* Psycholinguistics: historical aspects, methodological problems and selected topics in the field of language acquisition and multilingualism.— In: Proc. of the XIIIth Intern. Congr. of Linguists. Tokyo, 1983, p. 291—304.
- Osgood Ch. E.* Toward a wedding of insufficiencies.— In: Verbal behavior and general behavior theory. N. Y.: Prentice Hall, 1968, p. 495—519.
- Osgood Ch. E., Sebeok T. A.* Ed. Psycholinguistics: a survey. Theory and research problems. Bloomington, 1965. 307 p.
- Paivio A.* Imagery and verbal processes. N. Y.: Holt, 1971. 596 p.
- Pasch R., Zimmermann I.* Die Rolle der Semantik in der generativen Grammatik.— In: Richtungen der modernen Semantikforschung. B.: Akad., 1982, S. 246—362.
- Ross J. R.* On declarative sentences.— In: Readings in English transformational grammar. Cambridge (Mass.): Univ. press, 1970, p. 222—272.
- Ruzička R.* Autonomie und Interaktion von Syntax und Semantik.— In: Untersuchungen zur Semantik. B.: Akad.-Verl., 1983, S. 15—59.
- Sampson G. R.* Making sense. Oxford: Univ. press, 1980. 215 p.
- Schank R.* An artificial intelligence perspective on Chomsky's view of language.— *Behav. and Brain Sci.*, 1980, N 3.
- Schank R., Birnbaum L., Mey J.* Integrating semantics and pragmatics.— In: Prepr. of the plenary sess. pap. of the XIIIth Intern. Congr. of Linguists. Tokyo, 1982, p. 129—140.

Seuren P. A. M. Autonomous versus semantic syntax.— *Found. of Language*, vol. 8, N 2, p. 237—265.

Stama-Cazacu T. La structuration dynamique des significations.— In: *Melanges linguistiques* publ. a l'occasion du VII Congr. Intern. des linguistes à Oslo. Bucarest, 1957, 113—127.

Stama-Cazacu T. Psycholinguistics and linguistics — old relationships and promising prospects.— In: *Proc. of the XIIIth Intern. Congr. of Linguists*. Tokyo, 1983, p. 305—316.

Suprun A. E. Preučevanje govorne dejavnosti in jezikovnega mehanizma.— *Jezik in Slovtvo*, l. 1982/83, št. 4, s. 93—101.

Tulving E., Donaldson W. Ed. *Organization of memory*/N. Y.: Acad. press, 1972.

Wunderlich D. Methodological remarks on speech act theory and pragmatics. Dordrecht: Reidel, 1980.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	3
<i>Часть I</i>	
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ЕЕ ОПИСАНИИ	7
1. Речевая деятельность как объект лингвистического исследования	7
2. Категория деятельности вообще и речевой деятельности в частности	19
3. Принципы ономазиологического исследования речевой деятельности и общая характеристика используемых в ней единиц номинации	32
<i>Часть II</i>	
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ И ЛИНГВИСТИКЕ: УРОКИ ПРОШЛОГО	46
1. Наследие Л. С. Выготского и проблемы изучения превербальных этапов речевой деятельности	46
2. Трактовка Л. С. Выготским и его школой понятия внутреннего слова и категории значения	55
3. Личностные смыслы как особая категория психолингвистики и освещение семантических аспектов порождения речи в отечественной психолингвистике.	66
4. Модели порождения речи в трансформационной и генеративной грамматике	81
<i>Часть III</i>	
НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗНЫЕ ТИПЫ (И МОДЕЛИ) ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ	97
1. Общие замечания о соотношении номинации и синтаксиса (предикации) в актах речевой деятельности и характеристика главных компонентов модели порождения речи	97
2. Семантика и принципы распределения личностных смыслов как компонентов мысли по языковым единицам разной структуры	109
3. Общая схема речевой деятельности «с позиции говорящего» и ее возможные разновидности в разных типах организации речи	124
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	137
ЛИТЕРАТУРА	150

Елена Самойловна К у б р я к о в а

**НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Утверждено к печати
Институтом языкознания АН СССР*

Редактор издательства *О.Ф. Рожкова*
Художник *А.В. Рубцова*
Художественный редактор *Г.П. Валлас*
Технический редактор *М.К. Серегина*
Корректор *Н.И. Харламова*

Фотонабор выполнен во 2-й типографии
издательства "Наука"

ИБ № 31866

Подписано к печати 07.03.86

Формат 60 X 90 1/16

Бумага для глубокой печати

Гарнитура Литературная

Печать офсетная. Усл.печ.л. 10,0. Усл.кр.-отт. 10,2

Уч.-издл. 13,3. Тираж 3300 экз. Тип. зак. 48

Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"

117864 ГСП-7, Москва В-485,

Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"

199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12